

Давненько то было... А как-то, в неспешном, вспомиательном разговоре, сестра Антонина невзначай обронила полузабытое, но такое родное, наше сельское словечко «Чищоба», и сразу ясно ожило в памяти то, что когда-то было и, казалось, уже и быльём поросло...

Я увидел себя ещё совсем маленьким, шести или семилетним, на крыльце нашего дома ранним росным утром. Стою, гляжу на поднимающееся над садовыми плетнями солнце и — радуюсь. Радуюсь и ясному солнышку, а ещё больше тому, что старшие сегодня идут в лес за вениками и меня с собой берут.

Из сеней вышла сестра, за ней следом мать с верёвками в руках. А из низинного подвальчика, что в улице, перед домом, выбирается к нам хмурной, наверное, долго прогулявший ввечеру и потому невыспавшийся брательник Вениамин.

Мать накидывает на дверной пробой накладку, запирает её палочкой — это, считается, хозяев нет, дом на замке — и говорит своё привычное:

— Ну, с Богом!

Мы выходим из села. Оно со всех сторон окружено полями, и что для меня интересно и удивительно — каждое поле имеет своё название. Казалось бы — земля и земля, так нет: в одну сторону от дороги, по которой шагаем, это — Усады, а в другую сторону пошла Пузориha. А вон те овражки, поросшие кустарником, называются Стенькин куст. Никакого особенного именного куста не видно, да и кто такой этот Стенька, никто не знает, а вот, поди ж ты, прозвание сохраняется.

Дорога пошла немного в гору, и место это так и называется Дунькина гора, хотя опять же ни о какой Дуньке даже наша мама ничего не слышала. Да и никакая это не гора, пожалуй, а всего-то пологая возвышенность. Всё же, дойдя до её макушки, мы на минутку останавливаемся.

— Ну, вот, до Чищобы дошли, — говорит матушка. Совсем немного остаётся, да и ноги под горку веселей побегут...

Перед нами расстилалось просторное поле, окаймлённое по дальнему своему краю светлым берёзовым перелеском. И во все стороны, куда ни погляди, лежали уходящие в бесконечную даль поля, то ровные, то чуть всхолмлённые или изрезанные оврагами. И может быть, впервые в жизни я ощутил всем своим, ещё мало что знающим и понимающим существом безграничность нашего русского полевого простора — от горизонта и до горизонта! И это ощущение, этот немой детский восторг перед величием и красотой мира остались во мне на всю жизнь...

Дорога привела нас в тот самый, насквозь просвеченный солнцем берёзовый перелесок. По нему протекала небольшая, с хрустально чистой

водой, речушка. А по её, близкому к полю, травянистому берегу как раз и росли нужные нам берёзы.

Кто-то может сказать-спросить: как это понимать — нужные берёзы? Разве нельзя наломать веник из первой же попавшейся? Представьте: хороший — нельзя. На большую старую берёзу даже залезть непросто, а с лестницами в лес не ходят. Да и лист у старых — жестковат, даже от распаренного в бане от него берёзового духа нет. С молоденькими берёзками попроще: подошёл и ломай понравившиеся тебе ветки. Однако же, листва у них ещё не налилась соком, не заматерела, так что, подсыхая, она скукоживается, и в бане тоже не даёт того самого желанного берёзового аромата.

И это ещё не всё. Веники ломают не когда вздумается. Разумеется, никакого дня для заготовки на зиму не существует. И всё же ни в начале мая, ни в конце августа этим заниматься не принято. И самым подходящим временем считается июнь: до или после Троицы.

Как видим — целая наука!

Облюбованные нами берёзки были, понятное дело, молодыми, но не настолько, что подходи и ломай, а высотой этак от пяти до десяти метров. Главное же, как я потом понял, выбраны они были не столько за их молодость, сколько за то, что росли в подножии довольно крутого берегового склона лесной речки.

Мой брательник подошёл к одной из берёзок, зачем-то поплевал на ладони и сноровисто, цепляясь руками за сучья, полез по стволу вверх. Мы, оставшиеся на земле, тоже поднялись на верхнюю кромку склона.

Брат добрался до середины, берёзка закачалась в одну, в другую сторону. А вот он сделал ещё два рывка к вершине, резко качнул берёзку в нашу сторону и повис на руках. Момент, прямо сказать, трогательный... Между тем, берёзка под тяжестью тела верхолаза, медленно, медленно, но начала склоняться своей вершиной к земле, к нам. Ниже и ниже. А вот мы уже и ухватили её за маковку, за сучья и начали резать попадавшие под руку ветки.

Пригнул таким манером братец ещё одну берёзку, да ещё две. Ловко и как бы само собой у него получилось. И, глядя на него, мне, естественно, тоже захотелось внести свой посильный вклад в общее дело. Лазать по деревьям, рассуждал я, не хуже брательника умею. По годам — тоже не малолетка, осенью в школу пойду... Но когда я заикнулся о своём горячем желании — мама с сестрой в один голос зашумели на меня: залезть-то залезешь, а пригнуть — как пригнёшь, много ли в тебе весу-то — два фунта с половиной...

Взвешивание меня на фунты мне показалось не очень убедительным, я продолжал настаивать, и они, в конце концов, отступились с условием, что сами выберут подходящую берёзку: чтобы и не очень высокая была, и стволом не толстая.

Я тоже ритуально поплевал на ладони, обхватил ими беленькую берёзку и начал набирать высоту.

Карабкаться на яблони и даже на высокую черёмуху в нашем саду было для меня делом привычным. И первые метры дались мне довольно легко: я и на руках подтягивался, и босыми ногами берёзку обхватывал-перехватывал. Немного погодя, каждая новая подвижка вверх и вовсе стала вроде бы не убавлять, а даже прибавлять мне силёнок — такой необычный, такой чудесный вид открывался с высоты на всё вокруг! И чем выше я поднимался, тем дальше и дальше отодвигался полевой горизонт.

И всё бы хорошо, даже прекрасно, только не слишком ли я увлёкся созерцанием далёкого горизонта, не хватит ли возвышаться, не пора ли остановиться?

Самый трудный, самый каверзный вопрос! Потому, что ни я сам, ни те, кто внизу глядят за каждым моим движением — никто не знает и не может точно знать: надо сейчас остановиться или вскарабкаться ещё на полметра, а может быть, и на целый метр...

С земли кричат:

— Наверно, хватит!

Что ж, может, им виднее.

Я раскачиваю берёзку в одну, в другую сторону — так же, как и брат это делал — затем, резко качнув её на склон-косогор и оттолкнувшись ногами от ствола, повисаю на руках.

Берёзка качнуться в нужную сторону качнулась и даже заметно склонилась, однако, нагнуться вершиной своей до косогора не нагнулась — видимо, для этого моих двух фунтов с половиной и впрямь оказалось маловато...

Не знаю почему, но я тогда не испугался, хотя хорошо понимал всю безнадёжность своего положения: кто был внизу, на земле, помочь мне ничем не могли, сам же я достать ногами до наклоненного ствола был уже не в силах, а на руках долго ли можно провисеть... Руки и так сами по себе начали соскальзывать по гладкой берестяной коре, а вот и... и совсем разжались...

— А-а, — долетел до меня в следующую секунду слабый вскрик матери.

Приземлился, а проще сказать — шмякнулся я на тот самый, облюбованный нами, косогор. Шмякнулся вроде бы довольно удачно, поскольку удар о землю пришёлся не впрямую, а как бы вскользь. И открыв прижмуренные в момент падения глаза, первое, что увидел — склонённое надо мной лицо матери. И такую боль, такую любовь-страдание оно выржало, что я не сразу понял, в чём дело, что случилось-то?

— Не убился? — с горестной тревогой спрашивала мать, ощупывая мои плечи, локти, колени.

— Ха, скажешь тоже, — нарочито бодрым голосом оспорил мать подошедший брательник. — Парень всего-то с берёзки спрыгнул, а ты уж — убился.

Мать словно бы и не слышала усмешки брата и продолжала тормозить меня:

— А ну-ка, встань... А теперь как следует топни ногой. И другой тоже!

Оказалось, что левой топнуть я не могу: нога в коленке подвёртывается.

— Ну, вот что, — это мать уже другим, деловым тоном сестре и брату. — Берите верёвки — вон они лежат — и связывайте, что наломали. А я его немножко подлечу на дорожку.

Она взяла меня за руку и повела берегом речки вверх по течению.

Мне было непонятно, куда и зачем меня ведут, но вскоре же всё прояснилось.

Мы пришли на небольшую, укромную полянку с родником. Солнце лишь местами просвечивало сквозь густую листву склонившихся над родником деревьев, и вода в полусгнившем, замшелом срубе была тёмной, хотя выбегала по досчатому желобку светлой прозрачной струйкой.

— Говорят, давно ещё какой-то монах-отшельник откопал этот родничок, — сказала мама, присаживаясь на траву около желобка. — Вода, считают, в нём целебная... Давай сюда свою ногу.

Она высоко завернула штанину левой ноги, затем подставила под желобок ладонь, вылила на мою коленку и начала старательно растирать.

Я глядел на всё это как-то отстранённо, будто не со мной, а с кем-то другим это делалось. А может, потому так выходило, что я как-то не очень верил, что родниковая вода мою ногу вылечит. Но как только до этой точки в своих мыслишках я дошёл — такая досада на самого себя меня охватила, что слёзы к глазам подступили: твоя тёмная, по твоему разумению, мать верит, а ты, умный дурак, — не веришь!

— А теперь мы её ещё и завяжем, — мать сняла с себя коротенький передник и крепко забинтовала им мою коленку.

Я сначала предосторожничал, потом осмелел, твёрдо встал и — не чудеса ли? — нога держалась прямо и боль почти не чувствовалась.

— А теперь мы тебя ещё и умоём этой живой водицей, — мать наклонилась над желобом мою голову, и раз, и два ополоснула физиономию и сама тоже умылась.

— Хорошо-то как!

Мне тоже всё больше нравилась и эта уютная поляна, и этот родничок.

— Всё. Пошли, а то наши работнички небось уже заждались.

К нашему возвращению сестра с братом как раз заканчивали разборку нарезанных веток. Получилось четыре большие вязанки — каждому работничку по две — через плечо наперевес.

Пока шли Чищобой, нога моя всё же нет-нет да и давала о себе знать. А на Дунькиной горе, когда дорога пошла под уклон, я уже и вовсе про неё забыла.

И тогда не знал, и по сей день не знаю, что мне тогда больше помогло: целебная родниковая вода или материнская любовь...

Школа Вто Рой ступени

Школа в нашей Кузьминке, как, впрочем, и в других селениях Сергачского района, была только начальная. Так что для тех, кому хотелось знать побольше, чем дважды два четыре, продолжить своё образование было делом не таким уж и простым. Единственная на весь район школа второй ступени в городе Сергаче ютилась в небольшом одноэтажном здании — многие ли счастливичики могли попасть в неё?! Из нашего большого села учился я всего-навсего один, из соседнего Богородского — двое. При школе было кое-какое общезнание, но в нём помещались лишь ребята из дальних от Сергача сёл.

Матери, конечно, не хотелось отпускать меня «на сторону». «Много ли тебе? — спрашивала она. — Десять?.. Ну, пусть скоро будет одиннадцать, как же ты, совсем ещё несмышлёныш, в чужих людях жить будешь?.. Отец бы тебя не отпустил...»

Отца, солдата германской, а затем гражданской войн, к тому времени уже не было. Старшие братья тоже покинули родной дом: один был призван на военную службу, другой уехал на строительство автозавода.

Кроме моего малолетства, были у матушки и другие немаловажные резоны не отпускать меня из-под своего материнского крыла. «Подумайка, — говорила она. — Как и чем ты, бедный, питаться-то будешь? Ладно, картошки я тебе дам, а ещё что будет у тебя на обед или на ужин?.. Зима придёт, а ты из старенького пальтишка давно вырос, новое же ещё в магазине тебя дожидается...»

Нелегко было вести такие разговоры, и всё же я настоял на своём и был принят в вожделенную школу второй ступени, которая, пока я в ней учился, стала называться попроще: ШКМ — школа крестьянской молодёжи.

Учился я и охотно, и, если так можно сказать, старательно, хотя это вовсе не значило, что был каким-то примерно-показательным учеником. В нынешних школах одноклассники — они же одноклассники. А вместе со мной за партами сидели добры молодцы на два-три, а то и на все четыре года старше меня — где мне было за ними угнаться! В физкультурном строю я, естественно, стоял на обидном последнем месте. И это ещё не всё. Учительница химии с первого же урока мне не понравилась: предмет свой она, может быть, и не плохо знала, но на нас, учеников, смотрела сквозь строгие очки свысока, и не просто делилась знаниями о своей великой науке, а как бы делала нам, юным остолопам, очень большое одолжение. И в общем итоге моё, не очень-то умное, перенесение неприязни к учителю на преподаваемую им науку дало результат самый плачевный — из всего школьного курса по химии, кроме «аш два о», мне, увы, ничего не запомнилось.

Правда, с русским языком было проще и свободнее.

Когда в диктанте или при чтении литературных отрывков попадалось какое-то закомуристое слово, учительница Елизавета Ивановна имела обыкновение вызывать кого-то к доске с тем, чтобы вызванный чётко, ясно и правильно писал это слово для всеобщего обозрения. Нередко случалось, что выходили к доске, один за другим, и двое, и трое, а правильного написания не получалось. Тогда Елизавета Ивановна вызывала меня, и я, к удивлению не только своих одноклассников, но и собственному, писал правильно, после чего, с победно вздёрнутым носом, возвращался на место.

И раз, и много раз сказанное «правильно!», хоть и не так, чтобы очень, но всё же как-то возвышало меня над одноклассниками. Но однажды ореол словознатца оказался подвергнутым суровому испытанию и изрядно потускнел. Как-то угораздило Елизавету Ивановну, после похвального «правильно!», ещё и спросить меня: а теперь объясни, почему ты так написал?.. Нынче про такое, наверное, сказали бы: вопрос на засыпку. Тогда подобных выражений в ходу ещё не было, учительнице же не скажешь: спросите, мол, что-нибудь полегше... И я оказался в глухом безнадёжном тупике. Стоял у доски, с ноги на ногу переминался, а объяснить ничего не мог, кроме того, что написалось, мол, само собой, а что да как, да почему — откуда да и зачем мне знать?!

Разумеется, это был не ответ, а отговорка, причём самая глупая сродни той, что учительница химии не нравится — зачем я буду химию изучать. К чести и в похвалу Елизаветы Ивановны — она на меня не осердилась, должно быть, рассудив: ну что с этого новоявленного Сократа взять! — и я потом ещё не раз о своих писульках на доске слышал её «правильно!». Само же верное написание некоторых редких слов объясняется, наверное, тем, что я читал чуть поболее своих одноклассников и даже в том, ещё совсем зелёном возрасте, очень любил наше русское слово, как напечатанное, так и произнесённое.

Ещё в младенчестве, ещё не зная смысла слов, которые при мне говорились, любил я слушать, как объяснял мне эти слова отец. Был он, вследствие фронтальной контузии, нездоров, и то ли по причине этого нездоровья, то ли по своему природному характеру, всегда говорил мягким, тихим голосом. И я любил, вслед за отцом, уже громко, повторять и вновь услышанные слова, и их объяснение. И как-то мне это нравилось: и похоже на игру, и в то же время — важное серьёзное занятие!

о тец

Отца я, к сожалению, помню не очень внятно, лишь отдельными, время от времени всплывающими из туманной дали прошлого и снова уходящими в небытие картинами.

Вот одна из них.

Немощного, сидящего в постели в своём запечном закутке отца мать кормит молочной кашей. Завидев меня, отец говорит: «Хватит, я сыт, дай, вон, ему ложечку — вот как раз с пенкой...» Мать недовольно ворчит: «Ты бы о себе думал: не будешь есть — откуда силёнка возьмётся... А он с нами завтракал, он и так хорош». Отец продолжает мягко настаивать и отыскивает, как самый весомый в мою пользу, довод: «Он ещё маленький...» Я своим детским умишком — сколько мне тогда, три или четыре года было? — наверное, не всё понимаю так, как надо, но мне одновременно и сладко, что отец жалеет меня, и горько-горько, что сам он слаб, не здоров, и его самого надо жалеть больше меня... Заливаясь слезами, я выбегаю из избы в сени и, уткнувшись в висевшую там отцовскую гимнастёрку, безутешно плачу...

А вот и ещё одна небольшая и вроде бы малозначная, но оставшаяся в памяти картина.

Мать наказала нам с младшей сестрёнкой по пустыкам не беспокоить отца. Сам позовёт — другое дело, а играть или шумно бегать по избе — этого делать не надо.

Мы старались, как могли, придерживаться указанного распорядка. Но прошло какое-то время, и мать говорит мне: «Подойди к отцу, он сказал, что хочет с тобой поговорить».

Отец встретил меня приветливо, даже радостно: «А-а, сынок!.. Подходи, подходи поближе... Э-э, да ты, парень, я вижу, в рост пошёл и вот-вот совсем большой будешь. Доброе дело!.. На меня, как видишь, надёжа плохая, старшие твои брательники разлетелись кто куда — кому же, как не тебе, главной опорой у матери стать?! Да ты присядь...» Я присел на низенький стульчик рядом с кроватью, а отец положил свою лёгкую ладонь на мою голову и тихонько так, ласково провёл ею от макушки до лба. Немного помедлил, а потом ещё раз, так же тихонько, как бы прощально погладил меня по голове...

Теперь, по прошествии времени, можно высказывать разные догадки и предположения: то ли это было предчувствуемое отцом прощание с сыном (а отцу после этого суждено было прожить совсем немного), то ли ласковое прикосновение к сыну было и родительским благословением на предстоящий ему долгий жизненный путь. Не будет ошибкой, наверное, посчитать, что здесь могло быть и то и другое — вместе.

Предположения могут быть всякие. Однако, так ли уж, в конце концов, важно знать, что именно тогда сказал и подумал отец, как и знать переживания сына. Куда важнее, наверное, иное — то, что такой «разговор» состоялся, и ободряюще-благословляющее касание родительской длани я потом помнил всю свою жизнь. Помню и по сей день...

Надо ли говорить, что отношение к отцу у всех нас было самым сердечным и уважительным. Для меня же тогдашнего, ещё не знающего смысла таких слов, он был ещё и человеком особым, из всех выделяющимся. Я никогда не слышал, чтобы он на кого-то поднял голос или сказал резкое слово. Даже представить невозможно, чтобы он мог с кем-то ссориться или ругаться.

Но каким необыкновенным, каким замечательным человеком был наш отец, я узнал гораздо позже, когда немного повзрослел.

На нашей улице Ерзовке, можно сказать, привычной формой соседского общения были своеобразные мужские посиделки. Было это ещё до колхозов, когда жили и работали ещё одиночно, каждый сам по себе. Вот в праздничные дни то ли на сваленных у чьего-то двора брёвнах, то ли просто на зелёной лужайке и собирались мужики. Собирались подымить самосадам, вольно покалякать.

Никаких заранее определённых тем разговора, разумеется, не было. Шла, скажем, в те годы борьба с неграмотностью. И мужики взялись подсчитывать, а много ли в селе осталось этих неграмотных, и что с ними теперь власть будет делать — всем за пятьдесят, а то и за шестьдесят, усадить их за парту не так просто. (К слову сказать, нашу маму в тридцатые годы мы тоже на дому учили грамоте, и она потом, в годы войны, нам, четверым своим сыновьям, пусть и не шибко грамотно, но собственноручно, писала письма на наши полевые почты. И может быть, ничего более ценного, чем эти материнские письма, мы тогда и не получали. Ну, это к слову.)

В другой раз зашёл разговор у мужиков о первом насельнике Кузьминки, именем которого она и названа. Какой горячий спор разгорелся о том, где этот Кузьма поставил свою избу: у родника с чайной — то есть уж очень хорошей для чая — водой или на бугре, где теперь растут две берёзки и три клёна. Вспомнили, кстати, и ещё одного Кузьму, который поставил на краю села первую ветряную мельницу. Вспомнили и первого кузьминского кузнеца. Упомянут был даже наш фамильный дедушка Кузьма, хотя и остался он в сельской памяти не какими-то громкими делами, а всего лишь тем, что на лето уходил на Волгу бурачить, а зиму

спал на тёплых кирпичках родной печки. Село — не город: здесь всё обо всех знают все...

Однако же, если не уходить в частности, а попытаться определить некую обобщающую тему разговоров, то она, наверное, всё же была. Тема эта — поиск своих корней, история родного села. Нестройная, непоследовательная, а отрывочная, клочковатая, и всё же история, поскольку речь шла о людях, которыми она вершилась и продолжает вершиться.

В разное время и по разным поводам нет-нет да и называлось имя нашего отца. И какими же дорогими были для меня слова тех, кто знал его на протяжении многих и многих лет! И — ни одного, ни единого худого слова об отце я не слышал. А ещё — и добрые, хорошие слова произносились не походя, между прочими, а уважительно, с почтением.

Отец наш был не просто грамотным, но и много знающим, начитанным человеком. Я не помню, чтобы в нашем селе у кого-то в доме стоял хотя бы небольшой шкаф с книгами. Не было такого шкафа и в нашей тесноватой избе. Но у нас был заветный самодельный сундучок, заполненный книгами. В одной половине сундука хранились библия, жития святых, «Потерянный и возвращённый рай» Д.Мильтона, другие религиозные сочинения. Надо думать, благодаря хорошему знакомству с ними, отец и мог — один из всего села! — вести, что называется, на равных, беседы с нашим кузьминским священником Кротковым — человеком высокообразованным.

Другую половину сундука занимала русская классика: Пушкин с Лермонтовым, Кольцов с Никитиным, Некрасов. Разумеется, это были не тома в кожаных переплётах, а всего лишь скромные сборники, от частого употребления изрядно потрёпанные.

В долгие зимние вечера любил отец выбирать часик и почитать вслух того же Кольцова или Некрасова. Традиция эта, если так можно выразиться, долго сохранялась в нашей семье и после того, как отца не стало. Одолев азы грамоты, я нараспев, во всё горло, тарабанил: «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой». А один из старших братьев, Степан, став военным, когда приезжал на побывку, обязательно привозил книги и всем нам читал рассказы замечательного крестьянского писателя Семёна Подъячева...

И не получилось ли так, иногда я думаю, что не напрямую, а через отца, через ту атмосферу любви и почитания книги, какая им была создана в нашем доме, у меня и произошла первая встреча с тем русским Словом, которое потом Елизавета Ивановна заставляла писать на доске?

Ясно, что речь идёт о слове не обиходном, а письменном, книжном, о том, которому, как скажет наш великий словотворец Бунин, вечная жизнь дана, и над которым не властно даже Время — «Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письма».

И здесь, наверное, к месту будет сказать ещё об одной, несколько курьёзной, встрече с книгой, которая осталась в памяти тех, теперь уже далёких лет.

Знакомст Во с Земляком — Го Рьким

После того, как я стал учащимся Сергачской школы второй ступени, то ли на второй, то ли на третий день мной был предпринят культпоход — словечко это тогда было у всех на слуху! — в городскую, она же была и районной — библиотеку.

Переступив порог читального зала, я замер, как вкопанный. В Кузьминке библиотеки в те годы ещё не было, и такое огромное количество книг, собранных в одно место, видеть в своей жизни мне ещё не приходилось. Это кем же написано столько книг, и это сколько же, сто или двести лет надо жить на свете, чтобы все их прочитать! Если же прочитать всё невозможно, то кто скажет, какие из них самые важные и нужные?

Вот такие или подобные наивные вопросы роились в моей голове, когда я созерцал явленное передо мной море книжной премудрости. С чего начинать знакомство с этим морем, какую книгу взять первой?

Старушка-библиотекарша, конечно, не могла не заметить моих тревожений и, записав меня на читательскую карточку, вежливо так спросила: а слышал ли ты, паренёк, о нашем знаменитом земляке — Максиме Горьком? Вот я тебе и дам две книжечки: эта — самим Горьким написана, а эта — о нём, о его жизни и приключениях.

О Горьком до этого слышать мне что-то приходилось: да, наш нижегородец, да, трудное у него было детство — не с отцом-матерью жил, а с дедушкой, который ему как-то сказал: ты у меня не медаль на шею — иди-ка в люди... Вот, пожалуй, и всё. Что ж, почитаем!

Начал я с рассказов самого Горького. Однако, читаю, а что-то, чего-то, как бы сказать... не читается. Из сочувствия к его тяжёлому детству, из уважения к писателю-земляку, ставшему известным во всём мире, стараюсь читать с удвоенным вниманием — результат тот же: малоинтересно, всё как-то уж очень просто и обыденно, будто списано с самой жизни, никаких занимательных приключений...

На другой день, сразу же после школы, раскрываю вторую книжку — какого-то совершенно незнакомого мне Ильи Груздева — «Жизнь и приключения Максима Горького», и что за чудо — читаю и не могу оторваться. Ни в удвоенном, ни в каком другом внимании нет нужды — чуть ли не на каждой странице какие-то события происходят в жизни мальчика Алёши Пешкова, и неизвестно, как и чем всё кончится.

К тому же и мальчик-то не сочинённый, не кем-то придуманный, а живой и по сей день ещё живущий Алексей Максимович Горький...

Что произошло-то? А ничего особенного, и объясняется всё довольно просто.

У нас уже заходила речь о языке. Состоит он, как все мы хорошо знаем, из различных слов. Но все ли мы хорошо знаем, все ли мы помним, что слова в нашем языке различаются не только по своему смысловому значению? Между прочим, об этом хорошо знали ещё наши далёкие пращуры. Чуть ли не тысячу лет назад они одними словами писали «Летописи», другими — «Слово о полку Игореве». А ещё у них, как и у нас нынче, разумеется, был в обиходе и разговорный язык, язык повседневного общения. Получается, как бы три ряда одного и того же русского языка. Ну, а если ряды эти мы посчитаем разными, наверное, можно говорить и о разности в их понимании. И самым трудным признаётся понимание Художественного Слова, поскольку у этого Слова часто бывает не одно, а много значений и много смыслов. Красноречивым доказательством этого является более десятка переводов этого же «Слова о полку...» Между прочим, в поэтическом, художественном осмыслении этого гениального творения и по сей день последней точки не поставлено...

А теперь вернёмся к началу, к первым книгам, взятым в библиотеке.

Не будем проводить какие-то параллели, а просто скажем: одиннадцатилетнему школяру из Кузьминки художественный текст рассказов своего талантливого земляка Максима Горького оказался, что называется, не по зубам. Занимательная же биография Алексея Пешкова, пересказанная общепринятым, и значит, более знакомым школьнику языком пришлась как раз впору. Пройдёт годик, другой, третий, ученик Сергачской школы крестьянской молодёжи прочитает много замечательных книг, и не только будет правильно писать на доске разные закомуристые слова, но и научится понимать величие Художественного слова, его неотразимую образность и неисчерпаемую многозначность. Он с удовольствием и радостью перечитает многие рассказы и повести Горького, и даже так получится, что за стойкое пристрастие к творчеству великого земляка Пётр Муратов из Богородского будет в шутку называть его Горчонком...

«Медвежий угол» — так назвал наши места известный бытописатель и неутомимый путешественник по России Сергей Максимов. Сие наглядно подтверждается и изображением на гербе Сергача медведя, «в знак того, что такого зверя в окрестностях города довольно». Правда, медведь изображён не совсем обычный, не вот-вот выбежавший из леса: он и стоит важно на одних задних лапах и даже держит что-то вроде секиры на плече. Что ж, это тоже не какая-то вольная придумка: Сергач славился не абы-каким, а именно учёными медведями. Их с поводырями-сергачанами могли видеть и видели и на Нижегородской ярмарке, и в Москве, и даже в польских и венгерских землях.

Сергач — древнее поселение. Впервые он упоминается в летописях в связи с набегом на Русь, на Нижегородское княжество ордынца Арапши и происшедшем на берегу реки Пьяны, под Сергачем, за три года до Куликовской битвы известным Пьянским побоищем.

Город стоит на середине пути из Москвы в Казань, здесь же перекрещиваются дороги, идущие из южных районов Нижегородчины на север, к берегам Волги. Недалеко — в каких-то шестидесяти километрах от Сергача — находится Пушкинское Болдино, и в 1830 году Александр Сергеевич дважды приезжал в город, вступая во владение подаренным ему к свадьбе сельцом Кистеневым, которое тогда входило в Сергачский уезд.

Всё это я узнал, разумеется, не сразу, не за один присест, а из многих библиотечных книг. И по мере расширения круга знаний о Сергаче менялось моё отношение к нему. «А городок-то наш, — радовался я, — оказался замечательный — вон сколько всякого-всего в нём бывало!..»

Я-то радовался, а время было такое, что интерес к истории родной земли, к отечественной истории вообще был, мягко говоря, не в чести. И от своих соклассников приходилось слышать: «Ну, что ты повернул свою башку назад и разглядываешь, что, где и когда было? Вся жизнь у нас с тобой впереди. И глядеть надо вперёд! Я даже слышал, кто-то книжку такую написал «Время – вперёд!». Вот бы почитать!»

Великовозрастный (на три года старше меня) Петя Муратов, о котором уже упоминал, не только поругивал меня за чрезмерное внимание к Горькому, но и тоже настаивал внимательнее смотреть в завтрашний день: наш паровоз, вперёд лети — в коммуне остановка...

С кем бы ещё по-доброму поговорить, я не знал. Будь я посмелее — почему бы не завести знакомство с ребятами-сергачанами: городские — они как-никак знают всё же побольше нас, деревенских. По причине той же неодолимой природной застенчивости не мог я пойти и в школьное общежитие: ну, приду, ну, скажу, что вот, мол, пришёл, что же ещё сказать — не знаю...

Так что «разговаривать» приходилось, увы, чаще всего с самим собой: сам же себя о чём-то спрашивал, сам же себе, как умел, отвечал.

Кузьминка от Сергача — в каких-то пяти верстах, однако же каждый день в школу не набегаешься, и мать наша в одном из ближних к ней домов небольшой угол с койкой и колченогим столиком — это называлось устроила меня на квартиру. И я в субботу, после уроков, уходил домой в Кузьминку, а в воскресенье вечером или рано утром в понедельник с кое-каким запасом еды возвращался в Сергач.

Поначалу еженедельные походы эти меня тяготили, потом постепенно я втянулся и стал видеть в них даже и нечто привлекательное. Так ли уж это плохо и неинтересно иногда побыть наедине с собой? — задался я то ли где вычитанным, то ли от кого услышанным «умным», как мне показалось, вопросом. Захотелось что-то вспомнить — вспоминай сколько твоей душе угодно; захотелось с кем-то мысленно поговорить — разговаривай, никто тебе не помешает... Правда, воспоминаний пока что накопилось не так уж и много, и разговаривать с кем-то всё же лучше не

мысленно, а наяву... Но вот вчера прочитал страничку о Пьянском побоище, и как же горько было узнать, что причиной разгрома русичей стало не превосходство врага в числе или воинском искусстве, а обыкновенная русская растяпистость, потеря какой-то бдительности. Месячное выживание шедшего на Русь Арапши так расслабило наших ратников, что они, томясь бездельем, стали охотиться в окрестных лесах, бражничать, а при том ещё и бахвалятся: где этот Арапша? Он, небось, испугался и обратно повернул... Разгром был полным, потому и прозвание-то в летописях осталось не битва, не сражение, а побоище...

А сколько недоумённых вопросов вызвала другая страница отечественной истории — Смутное время! Это что же тогда произошло-то: правители наши, отнюдь не глупые думные и всякие иные бояре, присягали на верность новоиспечённому царю, хотя прекрасно знали, что царь этот — не кто другой, как проходимец Гришка Отрепьев?! А ещё столь же непонятно и не менее удивительно, что призыв о спасении Отечества прозвучал не из столичной Москвы и не от тех же именитых бояр или родовитых князей — патриотический голос прозвучал на Ивановской площади Нижнего Новгорода из уст простого русского человека Кузьмы Минина...

Немало вопросов возникало у меня при знакомстве и с другими памятными датами отечественной истории, хотя размышлять о них серьёзно и последовательно я тогда, разумеется, ещё не умел. При обращении к тому или иному знаковому событию у меня частенько не хватало умишка разобраться в его взаимосвязях как с предыдущими, так и последующими деяниями. Я всего лишь старался представить, вообразить событие в картинах и лицах людей, принявших в нём участие.

Не надо думать, однако, что после того, как я посчитал небезинтересным вести разговоры с самим собой, то всю дорогу из Сергача в Кузьминку только этим, наморщив лоб, и занимался. Нет, конечно. Дорога шла не городскими улицами, уставленными похожими одно на другое строениями, а раскинувшимися от горизонта до горизонта красочными полями, причудливо изрезанными большими и малыми овражками, и перевитыми лентами таких же, как моя, путей-дорог. И то ощущение бескрайности, безграничной вольности полевого простора, которое впервые познал я ещё на берёзовой Чищобе, вновь оживало и сладко разливалось в моей мальчишечьей груди.

Для полноты картины разве что остаётся добавить, что каждый раз я испытывал особую радость, когда с последнего взгорья открывалась передо мной родная Кузьминка, Стенькин куст за ней и тоже родные поля с берёзовой Чищобой на перетоке земли и неба.

В ночь под Рождест Во

Первый месяц моего учения в школе второй ступени был, пожалуй, самым трудным. Всю свою жизнь до этого жил я, если так можно сказать, среди своих. О родителях и членах семьи говорить не будем. Но ведь и близкие соседи, и дальние, не на Ерзовке живущие односельцы, тоже, считай, были «свои». Иной раз забежишь по каким делам на другую улицу, скажем, в Балаганы, и если увидит тебя какой-нибудь сидящий у своего дома на завалинке дядька — обязательно по-свойски спросит: «Чей будешь, паренёк?» А назовёшь свою фамилию — не преминет добавить: «А-а, Ивана Кузьмича, царство ему небесное... Похож, похож... Ну, беги дальше!!!»

В школе все были для меня чужие и я всем был чужой. Для кого-то никакой проблемы тут нет: нынче чужой, а завтра познакомились и стали своими в доску. Для меня — я уже говорил об этом — стать своим требовалось время.

Незаметно-незаметно время это прошло. К первому месяцу прибавилось ещё три, и чувство отчуждения стало постепенно уходить, сменяться чувством, если не близкого дружба, то доброго товарищества. У меня

уже как бы сама собой отпала необходимость мысленно разговаривать-спорить с воображаемыми оппонентами, если эти оппоненты-споришки сидели на соседних партах.

Библиотеку я, конечно, не забывал. Всё свободное от уроков время занимало чтение. Хотя наши классики по-прежнему были для меня куда менее интересны, чем Жюль Верн или Майн Рид. А небольшая книжка «Борьба за огонь», автора которой я и вовсе не знал, произвела на меня такое впечатление, что я помню её и по сей день.

Наступление зимы значительно осложнило мою связь с родным домом. День так укоротился, что в субботу я лишь затемно добирался до Кузьминки, а переночевав, на другой день под вечер — как бы ни хотелось остаться в родном гнезде до понедельника — надо было возвращаться в Сергач.

Но и это ещё не всё.

Наша Кузьминка вытянулась с запада на восток на добрых две версты (тогда эта мера длины употреблялась чаще, чем заменивший её потом километр), и своим восточным концом почти что соприкасалась с соседним селом Богородским, через которое проходила из того же Сергача на север к Волге так называемая Большая дорога. И чтобы не делать двухвёрстного крюка, я, как и все мои односельцы, ходил в Сергач напрямик полевой дорогой. Зимой же полевые, заносимые снегом дороги становятся непроезжими и непрохожими. Приходится пользоваться «Большой», то есть идти те же пять вёрст до Богородского, а потом под прямым углом поворачивать на двухвёрстную Кузьминку. Да и ладно бы короткая прямая дорога шла ровным пространственным полем. Так нет же: в одном месте огибала её коварная впадина по имени Брынка, а в другом, на некотором удалении, тянулись Ключевские овражки, в которые забегали не только зайцы, но и волки. Вот и приходилось чесать в затылке: пойти через Богородское надёжнее и безопаснее, но ведь на две версты дальше. Прямиком же пойдёшь, хотя эти две версты и выгадаешь, однако же на мало-мальски видный санный путь не рассчитывай, а метель разыграется — и вовсе в те самые овражки можешь забрести. Словом, и так нехорошо, а этак — ещё хуже...

Как-то раз по причине непроглядной метели, а второй раз из-за свирепого мороза субботние походы в Кузьминку вообще не состоялись. Ни сотовых, никаких других телефонов тогда, понятное дело, не было. И когда я уже не через привычную одну, а лишь через две недели появлялся дома — матушка так радовалась, словно я не из Сергача, а с того света вернулся, и не знала, куда меня усадить и чем накормить. И с удвоенным интересом расспрашивала: как я учусь, не слишком ли строгие учителя в школе, как ко мне относится хозяйка дома, в котором живу, даже про то допытывалась, хорошо ли греют варежки, собственноручно ею связанные.

Но как-то особо памятными остались от того времени наши тихие, долгие разговоры перед сном на уютной, тёплой печи. Может быть, впервые тогда своим ещё детским, но уже взрослеющим умишком я понял, осознал, что более близкого и дорогого человека у меня нет на всём белом свете...

Один известный русский писатель как-то заметил, что многим людям в возрасте четырнадцати лет свойственно считать себя, если и не гениями, то во всяком случае всё знающими и всё умеющими. Другой, тоже достаточно известный английский писатель, не оспаривая этого умозаключения, всё же уточнил его, сказав, что мнение человека о себе, как шляпа, должно быть точно по голове. Вспомнил же я эти умные речения к тому, что, приближаясь к своему четырнадцатилетию и уже постигнув азы грамотности, на всех неграмотных тоже поглядывал этак свысока. Ну, как же: я знаю, что сказал живший в бочке Диоген Александру Македонскому, а мой не шибко грамотный собеседник этого не знает — как тут не почувствовать разницу?!

Со стыдом и запоздалым покаянием я вспоминаю теперь, что нет-нет да и пылывал себе в таком же тоне пресохлости разговаривать и с родной матерью, поскольку она была тоже неграмотной. Особенно нахраписто я демонстрировал свою учёность, когда у нас заходила речь о вере, о религии. Смягчающим для меня обстоятельством тут могло быть разве только то, что в те годы борьба «с пережитками тёмного прошлого», в том числе и с религией, шла в государственном масштабе, и общая атмосфера, в которой мы росли, была пропитана атеизмом, по-русски говоря — безбожием. Мать, в ответ на мои доказательства недоказуемого лишь горестно вздыхала и тихонько говорила: «Как нехорошо вас в школе учат!.. Как же это без Бога? Без Бога нельзя...» А один раз так сказала: «Когда поменьше ты был, и церковь была ещё не закрыта, мы с тобой на Пасху ходили — помнишь?» Я ответил, что, конечно же, помню. «И что тебе тогда, плохо было?» Наивный и вроде бы не совсем на тему разговора вопрос этот поставил меня в тупик. Сказать, что «плохо» — будет неправдой: пасхальная служба понравилась мне и запомнилась своей возвышенной торжественностью. Но и признаться в этом я тоже не мог, поскольку такое признание шло бы вразрез с теми постулатами, которые уже успели внедриться в моё сознание повседневной пропагандой. Как быть? После нелёгких раздумий решение всё же было найдено: а что плохого будет в том, если ты маму... пожалеешь? — спросил я сам себя. — Да, она, с твоей точки зрения что-то «недопонимает», но надо ли из-за этого шпынять её своей учёностью, своим многознанием, надо ли её, попросту говоря, огорчать?!

Вот и в недавний мой новогодний приход в Кузьминку мать сказала, что следующая суббота будет кануном Рождества, и как бы хорошо было, если бы я пришёл пораньше: вместе бы встретили этот большой православный праздник. Я с готовностью отозвался: постараюсь.

Неделя прошла — как и все другие: утром — школа, а после какого-никакого обеда — сидение за колченогим столиком над домашними заданиями. Побывал я также в библиотеке, накропал письмишко находившемуся на военной службе старшему брату. А ещё и совершил, по мнению хозяйки дома, некий подвиг — починил тот самый столик, за которым читал и писал.

Ну вот ижданная, предрождественская суббота наступила.

Утром меня встретило и проводило до школы ясное солнышко. Ещё подумалось: вот радость-то маме — в такой день и такое праздничное, радующееся этому дню солнце!

Однако же, когда по окончании занятий мы вышли из школы — никакого солнца не увидели. Небо было беспросветно мутным и по нему не бежали, а прямо-таки стремительно летели серые с белесым подбоем и рваными краями косматые тучи. Северо-западный ветер сбивал с ног.

Северо-запад издавна зовётся в наших местах не иначе, как гнилой угол: именно оттуда, чаще, чем с других сторон света, приносится ветром ненастье, дождь или снег.

Пришёл я в своё жилище, сел за подремонтированный столик и, поставив на него локти, обхватил голову руками: что делать — идти или не идти? Будь это обычная суббота — раздумывать бы нужды не было. А нынче и суббота особая, и обещался прийти... Нельзя не идти... Надо идти... Пойду!

Надев на себя всё тёплое, что только было в моём небогатом гардеробе, и завязав тесёмки шапки-ушанки под подбородком, я храбро шагнул из тёплого дома в сени, а из сеней в метельную круговерть.

И всё бы ладно, да только тот, памятный для меня, день был ещё и одним из самых коротких в году, и когда я вышел из города, в поле уже начинало смеркаться.

Какое-то время я шёл Большой дорогой, которая вела в Богородское, и стал понемногу уже свykаться со спящей глаза метелью. Но вот передо мной замаячил сворот на полевую, более короткую, Кузьминскую

дорогу, и я замедлил шаг: сворачивать или пройти мимо? Внимательно, насколько это позволяли снег и ветер, пригляделся к дорогам. На Большой не так, чтобы чётко, но всё же заметны были следы санных полозьев: дорога потому и называлась Большой, что она шла не только до Богородского, но и дальше через многие другие селения и, значит, по ней, пусть и не часто, но более-менее постоянно могли проезжать жители тех селений. По Кузьминской никто, кроме кузьминцев, не ездил и санные следы лишь местами едва проглядывают. Сбиться с такого пути при всё усиливающейся метели было проще простого и чаемая двухвёрстная экономия могла обернуться теми же Ключевскими овражками...

В нелёгком раздумьи я минуту-другую потоптался на месте, а потом, будто кто-то или что-то подтолкнуло меня всё же на «свою» Кузьминскую дорогу: авось-небось!

То ли ночная темнота набирала полную силу, то ли снег повалил гуще – видимости, в привычном понимании этого слова, не было никакой. Не было и никаких ориентиров, кроме разве что метельного ветра. Мне думалось, что дует ветер из моей Кузьминки и, значит, надо стараться идти так, чтобы он всё время дул прямо мне в лицо.

Впереди какое-то тёмное пятно обозначилось. Я остановился. Пятно же вроде бы шевелилось, но тоже не двигалось с места. Я стал обходить его, сделал один шаг, другой... Фу! Это шевелился от ветра наполовину занесённый снегом какой-то одинокий, что редко бывает в поле, куст. Значит, хотя и иду всё время на ветер, а с дороги я сбился...

Прошло ещё какое-то время. И не будь метель такой беспросветной, может, могли бы показаться вечерние огоньки Кузьминки, пусть и не очень яркие, а всего лишь мерцающие, но всегда такие манящие и ободряющие...

В метельной круговерти проступило ещё одно, на сей раз небольшое расплывчатое пятно. Я не стал обходить его, хотя и замедлил шаг. Ближе, ближе... Начинают проясняться очертания тоже медленно двигающегося мне навстречу существа. Вроде бы человек, но какой-то странный, несуразный — то широкий, то узкий этот человек... А вот мы уже почти сошлись, нам уже вот-вот расходиться — мне в Кузьминку, а кому-то, кого разве что великая нужда выгнала из дому в такую непогоду, — в Сергач...

— Это ты, сынок? — слышу я едва уловимый в бурном переплясе, но такой родной, ножом режущий по сердцу, голос, на мгновение столбенею, а потом кидаюсь к матери, крепко, как могу, обнимаю её и говорю — нет, не говорю, а ору, да ещё и сердито:

— Это ты зачем? Разве забыла уговор: засветло не пришёл — не жди! А если бы разошлись?! Ты подумала: если бы мы разошлись?!.

Но уже в следующую же секунду мне так жалко стало близко ко мне прильнувшую мать, такая горячая благодарность переполнила моё мальчишечье сердце, что я пожалел о только что сказанных ненужных словах. Да и любые другие слова тут были, наверное, не очень нужны. И я молча прижимал маму к своей груди и гладил и гладил варежкой её вздрагивающую под шубейкой спину...

Вот такой осталась в памяти на всю жизнь та, теперь уже далеко-далёкая, ночь под Рождество.

моск Ва

По окончании школы я чуть не стал учителем...

Той же весной в Сергаче был открыт педтехникум, а при нём ещё и краткосрочные курсы. Цель этих курсов держалась втайне, хотя и была явно залихватской: за остающиеся каких-то три месяца до нового учебного года — подготовить на скорую руку некое количество учителей для сельских начальных школ. Вы скажете: и что же тут плохого? И соглашусь: ничего. Но откуда набрать — выразимся по-научному —

абитуриентов не то, что с неполным высшим, а хотя бы со средним образованием? Однако же, по известной поговорке на безрыбье и рак может сойти за щуку. Начальство приняло соломоново решение: лучших, успешно окончивших седьмой класс бывшей школы второй ступени, а нынче ШКМ, направить без каких-то там экзаменов — на эти курсы. Список направляемых по алфавиту начинался Сергеем Головановым из Богородского и заканчивался мной, кузьминцем.

Забегая вперёд, чтобы к курсам не возвращаться, скажу, что, как ни удивительно, но многие мои одноклассники, окончившие эти скоропалательные курсы, потом достойно учительствовали не один десяток лет. Правда, уча других, сами тоже продолжали учиться.

Я же, узнав, что попал в этот почётный список, пришёл в немалое смущение. Сказать матери — как бы она обрадовалась, а может, даже и возгордилась: сын вот-вот станет учителем! Будь жив отец, и он бы, конечно, не опечалился... Но какой из меня учитель?! Я ещё так мало знаю! В Кузьминке я шагнул на первую ступеньку знаний, теперь вот в Сергаче прошёл вторую и то неполную, а лестница знаний ведёт, небось, в самое небо... Что-то я более-менее знаю, с чем-то знаком лишь понаслышке, а ведь, наверное, есть много и такого, о чём я даже и не слышивал. И кто скажет — во сколько, в сто или тысячу раз — «не слыживал» больше, чем «знаю»?!

К тому же ведь и знание, само по себе, ещё не всё. Нужна способность, умение передать свои знания другим, «другие» же не на одну колодку сработаны и, значит, к каждому должен быть свой индивидуальный подход. Вон сколько всякого-всего набирается! И хотя, уже говорилось в другом месте, что в 14 лет, едва ли не каждый из нас, мнит себя всё знающим и умеющим, теперь, достигнув этого возраста, я засомневался и посчитал, что хорошего педагога — не просто учителя, педагога — из меня не выйдет. И если бы тогда кто-то спросил меня: а что, по твоим соображениям, из тебя может выйти, я бы честно ответил: не знаю. Твёрдо знал я одно: мне надо учиться и я хочу учиться! Однако, школы третьей ступени для продолжения моего образования в Сергаче не было. Уехать в Нижний Новгород или Москву я не мог. Я помнил слова отца, хоть и сказаны они были как бы и не всерьёз: старшие братья разъехались, кто, как не ты, остаёшься помощником и опорой для матери...

С братьями я более-менее регулярно переписывался. И в ответном на моё письмо Виктор, как бы в поощрение за успешное окончание ШКМ, пригласил меня на неделю к себе, в Москву: по Красной площади пройти, на Кремль и Василия Блаженного поглядеть. Мать отпустила меня неохотно: как ты доедешь, да как в таком большом городе брата найдёшь?! А вдруг не по той улице пойдёшь и заблудишься...

Билет до Москвы стоил не мало: то ли пять, то ли шесть рублей, но мать сверх этой суммы на «непредвиденные» расходы дала ещё рубль и десять копеек. непредвиденный расход получился сразу же, при покупке билета: первый подошедший поезд оказался скорым и скорость эта удорожала билет ровно на рубль. Так что в Москве на Казанском вокзале с поезда я сошёл, имея в кармане ровным счётом гривенник. Но это меня ничуть не удручало. Трамвай стоил две копейки и на этот гривенник я мог бы проехать всю Москву хоть вдоль, хоть поперёк. А мне даже и ехать было не надо: брат жил в каких-то двухстах шагах от вокзала, на Каланчевской улице — на этом месте нынче красуется высотная гостиница.

Деревянный двухэтажный дом барачного типа я нашёл запросто. Брат занимал в нём комнатку, в которой, кроме койки, стоял ещё небольшой столик и два стула. Вторую койку поставить было некуда — тогда бы нельзя было пройти к столу. Так что спать мне приходилось на полу, но это меня тоже нисколько не огорчало: я же не спать приехал, а по Москве ходить, Кремлём да храмом Покрова — сиречь Василия Блаженного — любоваться.

Брат весь день был занят на работе, и мне приходилось знакомиться с Белокаменной самостоятельно. Делал я это довольно примитивно: сидел в первый попавшийся трамвай — стоил он, как я уже сказал, недорого — и ехал. Увижу что-то привлёкшее моё внимание — выходил, потом ехал дальше. В архитектуре я разбирался плохо, так что мог легко проскочить-проехать мимо настоящего шедевра и со вниманием глядеть на какое-нибудь недоношенное дитя конструктивизма, вроде клуба имени Горбунова.

А может, это не так уж и плохо, что увиденное на улицах и площадях Москвы я не мерил архитектурными канонами, не вдавался в сравнения чего-то замечательного с чем-то ещё более прекрасным. Когда я увидел с Каменного моста Кремль, у меня не сорвалось с языка ни расхожого «Грандиозно!», ни столь же затёртого от частого употребления «Колоссально!», а сказалось всего-то удивлённо-протяжное «О-о-о!». Я немо удивился и тому, как это такое придумано, и тому, как это сделано! И чем дольше я стоял на мосту и глядел на суровые неприступные стены и летящие в небо строгие, непохожие одна на другую башни Кремля, тем больше радовался тому, что это рукотворное чудо стоит не где-то, а в стране, где я родился, и, значит, пусть и очень отдалённо, но всё же родственно-причастен ко всему, что сейчас вижу, точно так же, как и каждый русский осознаёт свою причастность к отечественной истории, хотя история эта началась ещё задолго до его появления на свет и творилась сотни лет без его участия.

Я прошёл по Каменному мосту на другой берег Москвы-реки до Кутафьей башни, затем Александровским садом — до Исторического музея. А вот и она — главная площадь нашей страны — Красная.

Кто не знает, что, кроме мавзолея, на площади есть ещё и Лобное место и памятник нашему нижегородцу Минину с князем Пожарским. Мне всё это тоже было известно. Но когда я ступил на брусчатку площади, то, конечно же, прежде всего, увидел на дальнем её краю расписные сказочные маковки Василия Блаженного. Именно русская сказка пришла мне на ум. Такое фантастическое, а лучше сказать — причудливое нагромождение разнофигурных и разноцветных маковок в реальности не увидишь, оно может разве что пригрезиться или явиться в сказке!

Площадь имеет небольшую покатость и когда идёшь к храму — он как бы вырастает на глазах и становится выше и величественней — опять же чем не сказка?! В книгах, когда речь заходит о самой высокой степени прекрасного, нередко употребляется словосочетание: сказочная красота. Наверное, вот этой, не обычной, не реальной, а именно сказочной красотой поразил меня храм Покрова на рву, как он поначалу назывался. В реальности-то и впрямь — на всей земле нет другого такого же или похожего на него храма...

Разумеется, побывал я и в Третьяковке — целый день вышагивал по залам, и в музее европейской живописи. Да мало ли чего другого увидеть и узнать удалось за полторы недели. Оставалось разве что повидать памятник Пушкину: именно им почему-то хотелось завершить своё знакомство со стольным градом России.

Спросил у брата, как проехать к памятнику.

— А вот как, — ответил уже хорошо знавший столицу брательник. — Поезжай сначала до Бульварного кольца, там пересаживайся на Аннушку, а на Тверском бульваре выходи.

Я усмехнулся: что это за Аннушка, которую называют так ласково и в то же время на ней ездят?

Вопрос мой развеселил брата.

— Так называют трамвай «А», который как раз по тому кольцу ходит.

И вот я еду на весело позванивающей «Аннушке» по Бульварному кольцу и на нужной остановке выхожу.

Памятник тогда стоял в самом начале Тверского бульвара. (Это после войны его передвинули на площадь, названную именем поэта.)

Я медленно, шаг за шагом, обошёл его кругом, потом присел на ближнюю скамью и долго вглядывался в бронзовое лицо поэта, узнавая и не узнавая его. До этого я же видел его портреты в хрестоматиях и по тем портретам и по хрестоматийным стихам он представлялся мне молодым и жизнерадостным. Теперь же я увидел человека средних лет, умудрённого житейским опытом и погружённого в глубокие размышления. Объяснялось это, наверное, тем, что по молодости лет знал я Пушкина как автора стихотворений, вроде «Роняет лес багряный свой убор» или «Собачку в санки посадив, себя в коня преобразив...», но ещё не понимающего, как это можно быть «Духовной жаждою томим...»

Вниз, к Никитским воротам, я пошёл не бульваром, а его обочиной, вдоль строений.

Глазую, читаю вывески: «Аптека», «Пивной бар», «Булочная»... А чуть дальше — несколько неожиданно, вижу ограду из железных прутьев, за ней скверик, в зелёной середине которого что-то вроде небольшого памятника проглядывается, а за сквериком старинный трёхэтажный особняк. У мимо шагающего парня с матерчатым портфелем, похоже студента, спрашиваю: что за дом? Тот, не останавливаясь, а лишь замедляя шаг, просвещает меня: «Дом, в котором родился Герцен. Извини, опаздываю...»

«Это — интересно!» — говорю я себе и через калитку, которой оканчивалась ограда, ступаю на землю замечательного русского писателя и пытаюсь восстановить в памяти ту страничку отечественной истории, где французы в 1812 году входят в Москву и семья Герценов... увы, я не успеваю вспомнить, что происходит далее с семьёй Саши Герцена — ко мне подбегает — и откуда только взялась?! — молоденькая черноволосая девица и умильно ласковым голосом говорит — нет, не говорит, а поёт! — Милый мальчик — какой ты хороший да пригожий! Пойдём к нам, — и показывает рукой в дальний угол подворья, где за небольшим столиком сидят на ящиках такие же темноволосые женщины.

— Никуда я не пойду! — с невозможной твёрдостью в голосе отбрыкиваюсь я.

— А хочешь, я тебе погадаю, скажу, что было и что будет! — не унижается девица.

«Цыганка! — лишь теперь догадываюсь я. — Только её и не хватало!» И жёстко отчеканиваю:

— Я и сам знаю и что было, и что будет!

На самом-то деле, конечно, я о себе так никогда не думал, но чего не скажешь, чтобы отвязаться от настырной цыганки. Наивозможно деликатно — не будешь же драться с девчонкой! — я высвобождаю свою руку из её цепких лапок и делаю решительный шаг к калитке.

На другом конце Тверского бульвара тоже стоит памятник — учёному Тимирязеву. Но после Пушкинского он, что называется, никак не смотрится: аккуратный столб из тёмного мрамора — не больше. Как потом я узнаю, понимающие в скульптуре люди так его и называют: столб имени Тимирязева.

Какое-то время я посидел у этого именного столба, отдыхая, приходя в себя после нежданно-негаданного наскока у дома Герцена. И что интересно: теперь, немного поостывшему, не таким уж и драматичным виделся-вспоминался мне этот наскок. В мыслях я неодобрительно относился уже не столько к молодой девушке, сколько к самому себе. «Ну, что ты на неё сразу взъероился? — корил я самого себя. — Что плохого она тебе сделала? — назвала тебя, деревенского лаптя, пригожим мальчиком и хотела тебе погадать — подумаешь, какое ужасное злодеяние она против тебя, бедного, замыслила?!

Да, конечно, комсомольцу не пристало слушать всякие гадательные бредни. Но если бы она что-то такое и напорочила тебе — велика беда! Как знать, по прошествии времени, может быть, даже и повеселился бы, вспоминая: вот это её предсказание — скажем, мимо проехало, дру-

гое — и так, и смяк, третье же почти что сбылось. Но ведь и в живой жизни тоже из задуманного-загаданного у нас что-то сбывается, а что-то и нет. Так что в итоге остаётся, что ты не очень-то красиво поступил с ничем не провинившимся перед тобой человеком. «Сам всё знаю!» Скажите, пожалуйста, какой умник-разумник приехал в Москву из Сергачских лесов! И годков-то ему, вроде бы не так уж и много, а смотри-ка, уже всё знает...

Поругал себя, а цыганку оправдал — вроде бы возобладали некая справедливость и на сердце сделалось полегче. А из разговора подсевших на мою лавку паренька и девушки, — студентов университета, я уловил, что улица, в которую перпендикулярно упирается бульвар, носит имя Герцена и выходит она на Манежную площадь, то есть к Кремлю. Завтра мне уезжать и неизвестно, когда ещё придётся быть в Москве, так почему бы мне не поглядеть на здание университета и ещё раз не пройтись по главной площади страны?!

Весь остаток дня и ушёл на этот заключительный поход.

Я опять прошагал площадь от Исторического музея до Лобного места и памятника Минину и Пожарскому. Побывал в Ленинском мавзолее и посмотрел смену караула у его входа. И, конечно же, ещё раз Василий Блаженный порадовал меня своим благолепием.

Ну, а если попытаться подвести некую черту и сказать о самом общем впечатлении, которое оставила Москва в моей памяти, то это, наверное, будет — удивление перед огромностью города. Это же сколько домов построено, сколько — считать не сосчитать — людей собралось-съехало в одном месте!

Вместе с удивлением, вольно или невольно, но постоянно шло и сопоставление городской и сельской жизни.

Для сельского жителя природа испокон веку — мать родная, кормилица и поилица, и он старался и старается жить с ней в наивозможном согласии. Однако же, вместе с тем, сколько сил он вынужден тратить на то, чтобы защититься от природных же стихий — морозов, дождей, засухи... Жители города от этих стихий надёжно защищены, и у них не остаётся времени подумать уже не только о крыше над головой, а и о том, чтобы и сами строения и крыши над ними сделать такими, чтобы одно погляденье на них доставляло радость. Вон у кремлёвских башен, у сохранившихся храмов, у того же Василия Блаженного — и крыши-то, в обиходном смысле, никакой нет, а только маковки да купола, устремлённые в небо и как бы соединяющие его с землёй, сияют...

Кто-то сочтёт мои рассуждения наивными, и я с этим охотно соглашусь. Однако же, надо ли много спрашивать с четырнадцатилетнего академика, только что окончившего Сергачскую ШКМ?!

куЗьминка

После шумной громогласной Москвы не сразу свыкаюсь с сельской Кузьминской тишиной. На другой же день, по приезде, проснулся от петушиного кукареканья, послушал, как залиvistый голос нашего Петьки подхватили соседские подголоски, а за ними и вся улица. И такой сладкой музыкой отозвалась в сердце эта знакомая ещё с самого раннего детства петушина переключка, так-то хорошо старательно и соревновательно горлалили певуны — хороший новый день накликали...

Прошла неделя, другая, а там и уборочная страда наступила.

Колхоз в Кузьминке только недавно образовался, никакой техники ещё не имел, кроме жатки на лошадиной тяге да молотилки с веялкой. Меня, вместе с Ерзовским же жителем по имени Минок, определили возить хлебные снопы с полей на ток. Я подавал, Мин, как более опытный, аккуратно, чтобы снопы в дороге не съехали с воза, их укладывал. Работали без перекуров и навозили большую скирду.

В первые дни я внимательно приглядывался к работе других моих сельчан, которые ещё не привыкли к своему новому званию колхозников, но работали теперь уже не по одиночке на своих полосках, а вместе, артельно, на общем колхозном поле.

Они хорошо знают друг друга с малых лет. И раньше, при возделывании своих полос, каждый старался и вспахать, и засеять их в меру своих сил и умения. И если не пропаханными получались концы загонов или, того хуже, просевы-проплешины обозначались — всё это было у всех на виду. Позор, не позор, но уж никакая не хвала. Теперь же, мало того, что работа каждого тоже была на виду у всех — работник ещё и понимал, что если он сделал её кое-как или совсем не так, как надо — его не только не похвалят, но могут и сказать: постарайся не портить общее артельное дело, старайся показать себя не с худшей, а с наилучшей стороны!

Если же говорить о молотье, тут и вовсе каждый участник действия как бы волей-неволей принуждался к общему ритму, который задавал барабан молотилки. Сбоку молотильной камеры сооружается нечто вроде длинного стола, на дальний край которого выкладывают привезённые с поля хлебные снопы. Затем, руками работников, снопы сдвигаются к барабану: их освобождают от соломенных поясков, выравнивают по длине и толщине, чтобы барабан потом не захлёбывался от перегрузки и не крутился вхолостую. Мастер-задавальщик резким и точным движением толкает хлебный настил в барабан и время от времени, обязательно, ещё и покрикивает:

— Давай!.. Давай-давай!

Надо ли добавлять-пояснять, что эти выкрики сообщают работе всех объединяющий и как бы всё время ускоряющий ритм, а так и постоянно напоминают всей цепочке работников, что барабан не то, что на минуту, а даже на секунду не должен, не может звенеть и греметь вхолостую: ему давай и давай!..

Время от времени делались перекуры, во время которых прикидывали, хватит ли на следующий уповод навезённых хлебных снопов. А потом опять запускался молотильный барабан и над током, над селом, над полями слышался, как боевой клич, знакомый призыв: «Давай! Давай-давай!..»

В первый же день было намолочено два больших вороха. А над током никакой крыши пока ещё не было.

И поздним вечером, когда мы с матерью, поужинав, сидели у своего дома на завалинке, к нам на Ерзовку пришёл живший в Конце, как называлась одна из улиц села, председатель колхоза, у которого, как и у моего подельника Мина, тоже было не часто встречаемое имя Сад.

— Добрый вечер, Татьяна Васильевна, — поздоровался председатель. — Небось, знаешь, с какой докукой пришёл?

— Знать не знаю, хотя догадываться и догадываюсь.

— Семёнка, поди-ка, говорил, какие два огромных, чуть ли не с вашу избу, вороха намолотили.

— Говорил, как не говорить... Урожай нынче, слава Богу, добрый.

По-крестьянски мудрый Сад Егорович, должно быть, понял, что, наверное, хватит ходить вокруг да около, и мягко так, просительно сказал:

— Выручай!.. На веялку надёжи нет... А вдруг небушко прохудится, дождь брызнет — это ведь какая незадача будет!

— Да уж чего хорошего-то, — поддакивает мать. — И отказываться я, конечно, не отказываюсь. Только почто ты начинаешь-то с меня? Есть и помоложе: та же Анфиса, та же Катерина Гущина...

— Я к тебе с сурьёзным разговором пришёл, а ты шутики шутишь, — вроде бы и сердито, и в то же время улыбочиво говорит Сад. — Ни о той, ни о другой ничего плохого не скажу, однако же, и ровнять их с тобой не буду. Ведь таких мастериц на всю Кузьминку раз и — обчёлся.

— Спасибо, Сад Егорыч, — за доброе слово, но уж больно высоко-то меня не подымай, — тоже улыбаясь, говорит мать. — И не сумавайся...

Завтра же с солнышком, буду на току. Ведь в уборку не то, что день — каждый час дорог...

Наутро я тоже поднялся с солнышком. На току, рядом с хлебными ворохами, утрамбовал и чисто подмёл новые площадки, на которых будет потом скапливаться провеянное зерно.

Ну, чего, казалось бы, проще это самое хлебное провеивание?! Бери в руки деревянную лопату, запускай её в ворох, а затем изо всей силы подбрасывай лопату с зерном вверх. Вот и вся премудрость!

Э-э, нет. Вся да не вся. Те именно краткие мгновения, в которые золотое зерно летит с лопаты вверх, а потом обратно падает на землю, оно и провеивается. Лёгкий ветерок выдувает половину, и соломенную, набитую молотильным барабаном мелочь да и всё другое, что легче увесистого пшеничного зерна. И, значит, какую сообразительность должен веяльщик проявить уже при взятии зерна на лопату — ни больше ни меньше! — и как ловко он должен подбросить текучее зерно аж в самое небушко. И тут мало одного знания, как и что надо делать. Тут ещё нужен много-многолетний навык, а может, и особый дар. У нашей мамы такой дар без сомнения был. Об этом давно знала наша Ерзовка, теперь узнала и вся колхозная Кузьминка.

Такой уставшей и такой довольной-довольной, как вечером того дня, я её давненько не видел.

Времена Года

Во временах года осень у меня с давних пор занимает особое место. С летом они вроде бы близкая родня: осенью крестьянин-земледелец заканчивает уборку урожая, которую начал ещё в конце июня или начале июля. Но кто, кроме того же земледельца, знает, сколь велика разница между началом и окончанием этой работы?! Ведь над полями, как известно, крыши нет и, значит, в каком великом напряжении пребывает крестьянин всё это время. Он каждый божий день и спать ложится и утром встаёт с тревогой и упованием: а каким будет этот новый день — погожим или ненастным?

Осенью летнее напряжение, естественно, спадает. Правда, в личном подворье дел не только не меньше стало, а даже прибавилось: русская зима — тётя суровая и одного топлива сколько надо заготовить, не говоря уже о съестных припасах: только успевай и огурцы солить, и капусту рубить, и яблоки мочить. А дни-то всё короче, и если что не успел сделать засветло — на электричество не рассчитывай, о нём пока ещё только по радио разговоры ведутся... И всё равно, домашние хлопоты-заботы и жатва под палящим солнцем, это, как иногда выражаются, — две большие разницы.

Мне даже казалось, что осенью и люди становились как-то даже добрее друг к другу. Привычная глазу краса природы тоже с каждым днём словно бы прибывала — по всем садам и огородам зажигались и кленовые и рябиновые костры. Недаром же говорил я сам себе, и у Пушкина, бывавшего в наших краях (он дважды приезжал из своего Болдина в наш Сергач), об осенней поре вырвалось всем известное — «очей очарованье», и Левитан назвал свою знаменитую картину не просто «Осень» — она у него «Золотая»!..

После того, как я научился читать, опять же не летом, а лишь осенью находил время заглядывать в отцовский деревянный сундучок с книгами и нараспев читал Никитина или Кольцова.

А ещё памятны мне золотые кузьминские осени тем, что именно в эту пору каждый год приезжал из Ленинграда в отпуск старший брат Степан. По окончании срочной службы он был направлен в какую-то не совсем понятную для меня школу ВОСО, после которой стал профессиональным военным. А пока что из этой школы приезжал на побывку в родные края. Заодно уж здесь, наверное, будет уместным сказать несколько слов о всей нашей семье.

Всего у наших родителей Ивана Кузьмича и Татьяны Васильевны было пять сыновей и три дочери. Первенец Семён совсем молодым новобранцем погиб на войне в печально известном июльском наступлении 1917 года. И меня, родившегося через год, называли его именем. Но до меня уже были Степан, Виктор и Вениамин. Дочерей звали Татьяна, Антонина и Зоя. Степан из нас, сыновей, был не только старшим, но и самым умным, толковым, рассудительным. Для меня же он и вовсе был за отца.

Так вот в каждый свой приезд он привозил книги, которые читались вслух всей семьёй. Читал сам Степан, а мы все внимательно слушали. «Все» — это и наша мама, и супруга Степана Евдокия, и мои сёстры — младшая Зоя и выданная замуж в Богородское и специально приходившая на эти чтения Антонина.

С большим интересом были восприняты деревенские повести и рассказы Семёна Подъячева. Они близки были нам и самим жизненным материалом, и бесхитростно простецкой формой его, так сказать, подачи. Многие персонажи и жизненные ситуации, в которые они то и дело попадают, понимались нами не как сочинённые, придуманные писателем, а как списанные непосредственно с природы. Некоторым героям рассказов даже находились наши кузьминские двойники. Меткие, ходячие словечки запоминались и какое-то время, а бывало, что и надолго оставались в нашем разговорном обиходе.

В другой приезд Степан привёз уже знакомую мне книгу Ильи Груздева «Жизнь и приключения Максима Горького». Многие её страницы не только читались, но и перечитывались. Интересно было ещё раз пройти с нашенинским нижегородским мальчишкой Алексеем Пешковым весь его, пусть и нелёгкий, но такой замечательный жизненный путь.

Звучали в нашей избе и Пушкин, и Некрасов.

Разумеется, у Пушкина брат выбирал не «Моцарта и Сальери», не «Пророка» и «Отцов пустынников», а что-нибудь попроще. Некрасов же читался чуть ли не подряд. И не только стихи, но и поэмы «Кому на Руси жить хорошо» и «Мороз красный нос».

Всех тронуло упоминание в «Морозе...» нашего Сергача. Сергач издавна славился тем, что его жители занимались обучением медведей и ходили с ними по ближним городам и весям. Бывали они и на Нижегородской ярмарке, и в Москве, и в Киеве. Видывали их в пределах Польши и Германии, Сербии и Венгрии. Медвежьи поводыри — их называли ещё ходябчиками — считали, что если захворавшего человека положить под Топтыгина, то больной может выздороветь. Некрасов же в поэме «Мороз Красный нос» как раз описывает болезнь крестьянина Прокла и после перечисления многих советов, как поставить на ноги больного, там идут такие строки: «Его б положить под медведя, чтоб тот ему кости размял, — ходябчик Сергачевский Федя, случившийся тут, предлагал».

Светлое, отрадное впечатление оставили у каждого эти наши семейные чтения! И ещё тогда же мной было сделано некое поначалу удивившее меня самого, открытие: они нас как бы ещё больше сближали, роднили. Но ведь считается, что нет ничего ближе семейного родства. А вот, оказывается, есть. Оказывается, точное меткое слово, да ещё и вовремя, и к месту сказанное, слово, из которого возникла-нарисовалась целая картина, и картина эта, в свою очередь, оказалась понятой другим, рядом сидящим — разве это не обоюдная, не общая радость, радость, душевно (духовно) сближающая людей?!

И как знать, не тогда ли я впервые ощутил ещё не осознанную разумом, пока ещё даже самому себе непонятную, магическую силу слова?

Кто-то читает книгу, произносит слова, а я вижу — картину. И ладно бы он и произносил слова и рисовал на доске или на листе бумаги картину — это было бы как-то ещё понятно. А он же только слова говорит — откуда в моём воображении вырисовывается картина — не чудо ли?

Выбрали мы с братом денёк и шли в лес, по грибы. Подберёзовики к тому времени уже сошли, а белые и подосиновики — их у нас ещё зовут красноголовиками — пусть и не под каждым кустом, но попадались. И когда наши корзины уже изрядно потяжелели, брат не то, чтобы потерял интерес к грибам, но всё чаще останавливался и просто любовался осенним лесом. Ведь для него он был не просто частицей природы, а лесом, знакомым ему ещё с детства каждой полянкой или овражком, каждой тропинкой. Вот он аукает мне, а когда я подхожу поближе, показывает, как родственно, стволами, переплелись берёзка с дубом. А в другом месте мы останавливаемся у муравейного домика и с интересом наблюдаем осмысленную деятельность этих, вроде бы не имеющих никаких мыслительных органов, неутомимых работников — жителей того домика...

А вот мы присели отдохнуть на полянке... Я не так сказал, надо бы — на чудесной, круглой, точно циркулем обведённой, полянке. В самой середине её вырос тоже круглый, циркульный куст шиповника. Ну, как не подивиться такому чуду природы?! И сколько у неё таких чудес! Да и весь огромный, прекрасный мир вокруг нас — не самое ли высокохудожественное произведение?! И не потому ли, между прочим, особенно дорого ценятся те картины живописцев, которые сумели запечатлеть именно вот такую, реальную, а не придуманную красоту мира.

Тут, наверное, следует сделать некую оговорку.

Это я теперь, вспоминая тот давний лесной поход, говорю о нём «нынешними» словами. Тогда же я и мыслил довольно примитивно, и многих «умных» слов в моём словаре просто ещё и не было. Правда, сама суть тогдашних раздумий и суждений какой была, такой осталась и по сей день.

На обратной дороге брат сам продолжил наш разговор и сказал, что мои соображения, может быть, чего-то и стоят, но надо ли сопоставлять красоту мира природы с тем, как её понимает и пытается копировать человек. Ты не подумал, что сам-то человек — великое творение, и вопрос, сотворил ли он себя таким сам или кто-то другой — вопрос для многих, даже очень умных, людей остаётся не решённым и по сей день...

Мне хотелось оспорить брата, но я не знал, как это сделать, что и как надо сказать. Всего-то скорее, наверное, это была наивная ребячья фанатерия: показать, что я, мол, тоже не лыком шит. Но каким-то образом мне удалось её преодолеть, и я промолчал. Правильнее, пожалуй, будет сказать: хватило ума промолчать.

На обратной дороге, конечно же, зашли мы испить целебной водицы из заветного родника, что на краю, столь же как и мне, хорошо знакомой брату Чищобы.

Наш приход домой мама встретила с превеликой радостью. Каждого долго и крепко обнимала, будто мы из кругосветного путешествия вернулись. Радовалась она и тому, как много грибов, да таких хороших, принесли, и не меньше тому, что её чада, старший с младшеньким, целый день вместе провели — ведь такое счастье выпадало не чаще, чем раз в году!

Пользуясь установившейся хорошей погодой, мы с братом в последующие дни перебрали крышу над сенцами — сгнившие доски заменили новыми. А чтобы корове зимой было не так холодно, обложили двор с наружной стороны толстым слоем соломы и ту солому прижали кольями. Да и мало ли и других хозяйственных дел обычных в это время — время подготовки к зиме — было нами переделано.

А перед самым отъездом Степана был у нас с ним большой, запомнившийся мне на всю жизнь, разговор.

— Из тебя, парень, — так начал брат, — может выйти толк, но... — тут он сделал некую паузу, — если будешь учиться. Сергачский университет ты, будем считать, успешно прошёл. Можно и надо двигаться дальше. Однако же, без полного среднего образования ни в Москве, ни в каком городе, ни в каком институте с тобой и разговаривать никто не станет... Ориентиро-

ваться на технические вузы я бы не советовал. Да и заниматься инженерно-техническим самообразованием — дело не простое и ненадёжное. Если же нацеливаться на гуманитарные учебные заведения — другой коленкор. И отечественную историю, и язык, и литературу можно изучать и самостоятельно даже в Кузьминке. Тем паче, что у тебя не только интерес, но и какой-никакой вкус к литературе вроде бы уже проклёвывается...

Я слушал брата и радовался: он не только думает обо мне, о моей жизненной дороге — он ещё и многое как бы уже обдумал за меня.

— С русской историей, правда, будет заковыка, — продолжал мой наставник. — У нас много прекрасных отечественных историков — и Карамзин, и Соловьёв, и Ключевский. Но преподаётся этот предмет чаще всего по учебнику современного советского учёного Покровского, который всю нашу дореволюционную русскую историю дётём вымазал... И чтобы тебе не сбиться с панталыку, я привёз историю России ещё одного хорошего русского историка — Платонова. Она хороша тем, что не только верно, но и кратко трактует исторические события.

Тут Степан открыл свой чемодан и достал из него книгу в изрядно потёртом коричневом переплёте.

— Вот всё в одном томе... У букинистов удалось разыскать... Держи, и набирайся ума!

Я бережно, обеими руками принял книгу и, не зная, куда её положить, присел с ней на лавку против брата.

— А ещё, Семаня, вот что я тебе скажу на прощанье — кто знает, когда опять увидимся!

Тут Степан встал со стула, на котором сидел, и подошёл к простенку, где висели изрядно пожелтевшие карточки отца и старшего брата, немного постоял перед ними и вернулся на прежнее место.

— Мне, наверное, не больше было лет, как сейчас тебе, когда я как-то спросил отца: а зачем появившемуся на свет младенцу дали имя, которое уже носил мой старший брат? Разве мало других имён?.. «Всяких имён в святцах — это верно — сколько угодно, — ответил отец. — Но мы с матерью — сколько горючих слёз пролили: уж больно мало пожил наш всеми любимый первенец! Словно и не жил вовсе. И мы будем молить всевышнего, чтобы он дал многолетие второму Семёну, пусть бы он пожил и за самого себя, и за того, чьим именем назван... Ну и само собой, разумеется, чтобы не просто жил — небо коптил, а много добрых дел успел сделать — опять же за двоих!»

Брат замолчал, и какое-то время в избяной тишине слышно было одно лишь «Тик-так!» стареньких часов, висевших в том же простенке рядом с фотографиями.

— Вот и разумеи, Семаня, — уже другим, не «отцовским», а как бы своим обыденным голосом договорил брат. — Молились двое истинно верующих и их горячая молитва не могла не дойти до Всевышнего. А если так, то тебе, братец, лёгкой жизни ждать не приходится...

МАЛЬЧИК ТОЖЕ ПОМНИТ

Вспоминая эти милые сердцу картинки, я нет-нет да и задавался наивным детским вопросом: сам-то ты их помнишь, а помнит ли Мальчик? Спросить его об этом не согласишь, но, наверное, тоже — помнит, должен помнить. Если бы не помнил — как бы он тогда, когда мы с Мином пришли на двор, из всего многоголосья смог не только различить мой голос, но и дружелюбным ржанием приветствовать меня: я, мол, слышу тебя, здравствуй!..

Прошли-проехали Стенькин Куст, повернули на взгорье, и село осталось за спиной. Дальше дорога раздваивалась: левая излучина вела на хорошо памятную вениками Чищобу, а правая плавно сползала к небольшим овражкам, на дне которых чуть ли не всё лето светилась вода. Место это называлось одним словом — Грязное, причём с ударением

почему-то не на первом, а на втором слогe. В Кузьминке в разговоре можно было услышать: вчера ехал из Рожка — в Грязном чуть не завязз...

Рожком именовался берёзовый светлый лес, уходящий своими дебрями куда-то на север, а также и на запад, в сторону Чищобы. А между Грязным и Рожком лежало не так чтобы большое, но всё же довольно просторное поле, бороновать которое мы и ехали. Поле это считалось самым дальним от села. И когда-то здесь соорудили небольшой сарайчик, в котором, чтобы не гнать лошадей домой и обратно, мужики ночевали. Мы тоже бороны не увозили в село, а держали в том сарайчике.

Поле это для меня было таким же достопамятным, как и только что помянутая Чищоба.

То ли за год, то ли за два до колхозов, при очередном дележе земли, нам досталась небольшая полоска на этом поле. И вот как-то, поднятые матерью вместе с солнышком, мы со старшим братом Вениамином приехали ту полосу пахать. Настоящего плуга — это когда лемех и отвал крепятся между двумя колёсиками и подрезают землю на нужной глубине — такого плуга у нас не было. Была лишь простенькая косуля, которую надо держать обеими руками. А поскольку второй пары рук, чтобы править лошадьё, в наличии не было, рассчитывать приходилось лишь на природный ум Мальчика и его многолетний опыт: Мальчик шёл вдоль проложенной борозды, как по линейке.

Брат провёл первую, самую трудную, можно сказать, основополагающую борозду, пропахал вторую и посчитал, что пора и мне набираться земледельческих навыков.

— Держи ручки ровно, не давай лемеху вглубь зарываться, — напутствовал меня брат и показал, как именно надо держать косулю в борозде. — А я немного вздремну, а то башка что-то тяжёлая, аж трещит.

Я-то знал, отчего у него «башка трещит»: при побудке мать выговаривала брату за поздний приход с гулянья. Но мне, конечно, было не до каких-то выговоров брату. Я радовался, что парнишке на побегушках (сбегай туда-то, принеси то-то или что-то) доверяют работу, которая как бы уравнивала меня с работниками вполне взрослыми — есть чем и возгордиться.

Смущало меня только одно. Если брату ручки косули были на уровне пояса, то мне десятилетнему — чуть ли не на уровне плеч. Мне проще было повиснуть на тех ручках, чем ими управлять шириной борозды и её глубиной. Так что приходилось стараться изо всех сил возможных.

И это ещё не всё. Борозда-бороздой, но ведь там, где она оканчивается, косулю надо поворачивать. И чтобы не оставлять непропаханных травяных «козлиных боронок», на поворотах её следует приподнимать и оттягивать на себя. И вот на одном из таких разворотов я дёрнул её так резко, что железная пятка косули впиалась в мою босую ступню чуть выше пальцев. Дальше можно не рассказывать; никакой аптечки, что нынче имеется при каждой машине, у нас с братом, конечно, не было. Хорошо, нашлась тряпица, в которую мать завернула испечённые на обед яйца. Ничего, зажило, хотя знак косульной железной пластинки заметен на ноге и по сей день...

Боронование — не самая ли простейшая из всех полевых земледельческих работ. Захват бороны — не меньше метра и так ли уж сложно к забороненной метровой полосе провести ещё одну такую же. А немного и заехал на забороненное или пяти-десяти сантиметровой пропуск поучился — велика ли беда.

Недаром, как ночное, так и бороньба издавна считалась делом ребячьим: взрослые работки пусть за ночь отдохнут, чтобы грядущим днём побольше сделать. Ребьячьё же бороньба ещё и тем хороша, что лошадке день-деньской возить на своём хребте малолетнего огольца куда легче, чем здоровенного добра молодца.

Мы, два молодца, — я и Мин Горностаев — тоже решили не отягощать коней своими телесами: будем ходить по полю с вожжами в руках.

Мин был мужик, как мужик, ни своим внешним видом, ни поведением не отличавшийся от других селян. Разве что имя у него было редкое да и характер на редкость мирный. Если в споре-разговоре кто-то будет с пеной у рта доказывать свою даже явную и видную всем неправоту — Мин легко может уступить. Уступит не потому, что ему крыть нечем, а потому, что не хочет разводить бурю в стакане или, говоря по-другому, толочь воду в ступе. И хотя спорщик после этого и посчитает себя победителем, все, кто слушал дебаты, остаются на стороне Мина.

Мне же не раз доводилось видеть и слышать Мина ещё и как интересного, оригинально мыслящего собеседника. Случались эти беседы не так, чтобы часто, но запоминались надолго.

Нынешний денёк складывался вроде бы успешно. Работали без перекуров — это для нас не задача, поскольку оба некурящие — и к обеду сумели выполнить дневную норму. Мальчика и Минину кобылку Анюту на опушке Рожка пустили попасться в густой некошеной траве, а сами с домашними припасами расположились на полянке между двумя молодыми, похожими одна на другую, берёзками.

Мы готовили землю под озимый сев, и само название нашей работы говорит о том, что лето уходит Неделю назад Илья Пророк прогремел в заоблачных высях на своей огненной колеснице, а после его дня, считается, вода в реках начинает уже холодать. Лес всё ещё по-летнему благоденствует. И если майской весной мы слышим голоса лишь соловьёв да скворушек, сейчас поёт весь лес: лепет, щебет, залиvistые трели несутся со всех сторон, и попробуй, разбери, какой артист в этом хоре какую арию исполняет...

Мин тоже какое-то время сосредоточенно внимает лесному концерту, а потом, словно бы «подслушав», о чём я только что подумал, говорит:

— А ведь они не просто поют — солнышку радуются. Они же ещё и перекликаются, разговаривают меж собой... Жаль, мы не понимаем их птичьего языка!

— Люди разных стран тоже говорят на разных языках, — вступил я в разговор.

Мне не захотелось козырять перед не шибко грамотным Мином своими великими знаниями, которыми обогатился я за годы обучения в Сергачской ШКМ. И всё же я не удержался, чтобы теми знаниями не поделиться:

И чтобы русский понял немца или француза, а они — русского, есть так называемые переводчики, то есть люди, знающие, кроме своего родного ещё и другие языки.

— Вот бы! — с энтузиазмом воскликнул Мин. — Вот бы! Как хорошо-то было бы, как интересно, если бы кто-то перевёл нам птичьи песни! Ведь эти птахи, небось, и весь окружной мир видят и понимают не как мы, а по-другому...

Вот за этот детский восторг перед окружным миром я, наверное, и отличал Мина от других ерзовских соседей.

После обеда, наслушавшись птичьих песен, мы работали, может быть, и не так ретиво, но сделали так же много. Даже с возвращением домой припозднились: не хотелось оставлять назавтра незабороненными каких-то пол-гектара.

«дела́й так, как тебе надо!»

Как-то под вечер парнишка-посыльный прибежал. И с порога, ещё не закрыв дверь:

— Председатель Сад тебя вызывает. Прямо сейчас и иди, всё правление в сборе...

Прямо сейчас я и пошёл. Председатель колхоза не часто вызывает рядовых колхозников, поскольку каждый день с ними видится. Должно быть что-то важное.

В кабинете председателя, если можно назвать небольшую комнатёнку таким серьёзным словом, сидели, кроме хозяина, бригадиры, а также завхоз и счетовод.

Как бы продолжая ранее начавшийся разговор и всё же обращаясь теперь больше в мою сторону, Сад Егорович сказал:

— Вот подводим итоги нашего земледельческого года, хотим почествовать тех, кто хорошо работал. В это число и тебя с Мином записали. Однако же, пока собирались воздать вам по рабочим заслугам — районное начальство прислало бумагу: в Сергаче создаётся машинно-тракторная станция. И надо сделать так, чтобы за руль каждой машины сел не первый попавший, а самый лучший, самый надёжный работник.

Тут председатель сделал небольшую паузу, а затем договорил:

— Так что Мин остаётся и будет работать за двоих, а ты собирайся на курсы трактористов: они откроются через две недели.

Предложение было столь неожиданным, что я и не знал, что и ответить. Сказал лишь первое, что пришло в голову: надо бы с матерью посоветоваться.

— Это ты правильно говоришь, — вроде бы согласился Сад Егорович. — Но ведь дело-то это не твоё или моё личное, а наше общее. Мать же у тебя женщина умная, понимающая, и я её постараюсь уговорить.

Наш ерзовский бригадир Михалыч в разговор не вступал, хотя и видно было, что ему вовсе не хочется отсылать меня на какие-то тракторные курсы. И вот только теперь он решился выложить на стол свою заготовленную карту:

— Паренёк Семёнка толковый, я согласен. Но — есть одно но: он ещё несовершеннолетний — ему ещё нет шестнадцати!

Однако, сказанное Михалычем Садока Егоровича не застало врасплох. Он, видимо, тоже заранее поинтересовался моим возрастом да и все в начале высказанные похвальные слова в мой адрес им взяты были не с подачи ли Михалыча, и потому этак спокойненько и как бы подводя заключительную черту разговору, Сад сказал:

— А вот пока учится на курсах, он и станет совершеннолетним... Разрешите заседание правления посчитать закрытым.

Придя домой, я долго не решался сказать матери о том, зачем меня «вызывали» на заседание правления. «Ну, вот, — скажет она, — опять дождалась!» — и закроет лицо ладонью, чтобы я не видел её слёз. Это сколько же сыновей она за свою жизнь нарожала, и каждый под её материнским крылом живал-бывал только младенческие и юношеские годы, а когда возрастал — уходил из дома. Степан был призван в армию, а пройдя училище, так на военной службе и остался. Виктор, получив паспорт, сперва уехал в Нижний Новгород, а потом перебрался в Москву. Туда же, в Москву, убыл из Кузьминки и Вениамин. А вот теперь и ты из-под того материнского крыла вылетаешь...

А ведь ещё и то плохо, что тогда кто-то из братьев уходил — их подраставшие братья оставались. После тебя никто не остаётся, ты уходишь последним... Можно, конечно, в оправдание сказать, что если старшие уезжали в дальние края, а я-то, мол, остаюсь на Сергачской земле, то такое оправдание вряд ли можно посчитать серьёзным. Сергачский район — не самый ли огромный район юга Нижегородчины: летом приехать в Кузьминку попить чаю с матерью будет и не на чем, и не досужно. Зимой же трактористы тоже на печке не лежат — надо ремонтировать своих железных коней и другую земледельческую технику.

Рассказать матери о разговоре в колхозном правлении всё же пришлось. И когда я дошёл до главного, до отбытия моего из Кузьминки — она отшатнулась от меня и закрыла лицо ладонью...

Чтобы нарушить наступившее тяжёлое, горькое, как полынь, молчание, я тихонько вымолвил:

— И что на это скажешь?

Мать мельком, благодарно-благодарно, наверное, за то, что её мнение спрашивают! — взглянула на меня и прерывистым от волнения и как бы уже преодолевающим горечь предстоящего расставания, любящим материнским голосом ответила:

— Что я скажу?! Делай так, как тебе надо, — и как бы в подтверждение сказанного уткнулась лицом в моё плечо.

Жизненная дорога едва ли не каждого человека мало похожа на ровную, по линейке проведённую черту: сколько всевозможных поворотов, заворотов и разворотов! Повороты, разумеется, тоже бывают разные: один, скажем, вчера был, а ты через день о нём уже и забыл. Другой же — помнится всю жизнь, поскольку он то ли определил, то ли решительно изменил направление какого-то важного отрезка твоего жизненного пути. Не могу объяснить почему, но именно таким важным, определившим на ближайшие годы смысл моей жизни было решение не уходить вслед за братьями, а остаться на родной земле. Да, пройдут годы, и смысл своего земного бытия ты увидишь и осознаешь не только в труде на родной земле, но и в описании, словесном изображении красоты той земли и людей, которые на ней трудятся. Но как бы ты смог проникнуться сознанием великой красоты нашей русской земли и величием людей, на ней работающих, если бы сам не видел её и на утренней, и на вечерней зорьке, и не съел с земляками тот сказочный пуд соли, который, как принято считать, не только сближает, но и роднит людей?

Мать в последние дни ходит не то, что сердитая, а какая-то сосредоточенная, замкнутая. Даже голос стал и то каким-то заземлённым, будто говорит она не в полную силу.

И я как-то не удержался и сказал-спросил:

— Ты, маманя, в последнее время какой-то невесёлой стала.

— А с чего веселиться-то, если ты послезавтра уходишь.

— Так тебе помене будет хлопот-забот.

— Чай, заботы-то бывают разные. О тебе же забота мне никогда не была в тягость, а только в радость.

Пытаюсь зайти с другой стороны:

— Да ведь я буду-то совсем недалеко.

— Далеко ли, близко ли, а всё равно отрезанный ломоть.

Тоже верно: ломоть отрезанный. Чем же её порадовать?

— Весеннюю вспашку сделаем, отсеемся — прибегу.

— Сам же говорил: какой-никакой ремонт будет после весенних работ. Ты побежишь, а кто за тебя работать будет?

И опять — верно: после сева станем на несколько дней на профилактический ремонт.

Отвечает мать так, что мне зацепиться не за что, чтобы продолжить разговор. Но ведь и рассердиться я на неё тоже не могу: она же не какого-то особого внимания к себе требует, ей всего-то и надо, чтобы ты был близко, рядом с ней, был дома.

У меня глаза начинают задёргиваться влажной пеленой: и жалко мать до слёз, но и себя-то хочется видеть не ведомого мамой за ручку, а идущего самостоятельно выбранной дорогой, и как знать, может быть, твоя-то дорога только вот и начинается...

и опять — сеРгач

Вот и опять я в Сергаче и учусь теперь уже в настоящей школе второй ступени — на курсах трактористов.

По окончании прежней семилетки времени прошло вроде бы всего-то ничего, а шагаю я по улицам города с таким ощущением, что тогда был ещё малым дитяткой, а вот теперь заявился в Сергач уже совсем взрослым. Передо мной был всё тот же хорошо знакомый городок, но видел я его уже как бы другими глазами.

Вот она та школа, ныне ставшая ШКМ — её видишь первой, при входе в Сергач. Поглядывал же я на неё тепер не то, чтобы свысока, поскольку никаких новых высот в своём образовании за последние годы мною достигнуто не было, а как бы с некоторой, ну, что ли, укоризной. При моём всегдашнем, ещё с малых лет, интересе к отечественной истории, я не то, что серьёзных, а даже самых простеньких знаний минувших времён здесь, увы, не получил. Отложились в памяти разве что некоторые даты, обозначавшие те или иные события, однако же смысла и значение этих событий в последующей судьбе России оставались для меня не раскрытыми. Именно в те тридцатые годы так называемая школа Покровского фактически изгоняла из учебных программ историю, как таковую, заменяя её уроками — придумано же было хитромудрое словечко! — обществоведения. И у меня эти уроки оставляли понимание многовековой истории, как истории постоянной борьбы русского народа не столько с врагами России, коих всегда было немало, сколько с русскими же правителями.

И лишь по прочтении вручённой мне Степаном платоновской «Истории России» я проникся настоящим, если не сказать, пристрастным интересом ко всему, что было с нашей страной и нашим народом, как в давнем, так и в недавнем прошлом. Раньше мне любопытно и как бы уже достаточно было знать, что нашему Сергачу, как городу, около ста пятидесяти лет, а впервые он упомянут в русских летописях ещё в 1377 году, за каких-то три года до Куликовской битвы. Теперь же мне хотелось — употребим народное выражение — встроить, как ту, так и другую дату в общий контекст отечественной истории. Тогда любая дата становится уже не самой по себе, а как бы неотъемлемой частью общей истории.

На этой же улице, рядом со школой можно видеть небольшой деревянный домик, который в прежние времена был чем-то вроде географического кабинета. В отличие от истории, с географией нам, что называется, повезло. Её преподавал известный учёный и путешественник, много поездивший по белу свету и много повидавший Александр Леонидович Яценко.

Вёл уроки он тихим ровным голосом, и слушать его было — одно удовольствие. Правда, жёсткие рамки школьной программы предписывали ему не столь рассказывать о своих путешествиях, сколько растолковывать нам географию, как научный предмет. И Александр Леонидович делал так, что в определённые дни после уроков приглашал по пять-шесть учеников к себе домой. Жил он недалеко от школы в добротном деревянном доме с просторным, нависающим над садом балконом. И дома-то, уж конечно, от него можно было не только услышать рассказы о далёкой Австралии, но и видеть, держать в руках привезённые оттуда различные предметы, которые в музеях называют экспонатами.

Про балкон я упомянул неспроста, не ради красного словца. На балконе устанавливалась астрономическая труба, и в ясные безоблачные вечера мы подолгу разглядывали звёздное небо и неожиданно близкую луну. Чудесное, фантастическое, незабываемое зрелище!

Сергач раскинулся по широкому, пологому, кое-где изрезанному овражками, нагорью, в подножии которого протекает речка того же имени — Сергачка. Она ничем не примечательна, не то, что Пьяна, в которую впадает; у той же само название вызывает своеобразные эмоции. Сергачка же течёт себе тихонько в мелком ивняке, виляя то в одну, то в другую сторону. А вот о том, что на её северном берегу с давних времён стоит кузница, а с южного берега, то есть из заречья, уж очень хорошо видится город — сказать об этом, наверное, стоит.

Начиная с нижнего ряда строений, каждый новый ряд словно бы высовывается, вырастает из него. И так — по всему нагорью. Заметно также, что верхние ряды построек — чем выше, тем наряднее. Собор же, стоящий посреди нагорья, уж и вовсе свои шпилем устремлён в самое небо.

Рядом с собором находится и библиотека, в которой я, конечно же, побывал.

Старенькая библиотекарша встретила меня с сердечным радушием, как дорогого гостя. Она с весёлой улыбкой вспомнила и мой давний первый визит, и то, как я, буквально разинув рот от изумления и восторга, взирал на впервые в жизни увиденное множество книг, собранных в одном месте. И хотя я и теперь на полки, плотно заставленные собраниями сочинений и отдельными томами, глядел с прежним почтением и преклонением — в мои высокие мысли и чувства чёрным скользким ужом вползал тревожный и неизбежный вопрос: а когда у тебя руки дойдут до этих томов? Если же с горних высот книжного сияния спуститься на реальную землю, картина будет выглядеть ещё мрачнее: не завтра, так послезавтра ты сядешь за руль трактора и тогда не то, что бездельного дня — свободного часа и то найти будет не так-то просто... Это в городах — на заводах, в учреждениях работают по часам. Хлебное же поле и пахут — сеют, и убирают по солнышку. А дождь пошёл, разнепогодилось — опять же не лежи на боку, а проверь машину, готовь её к безотказной работе...

курсы

Ну, о Сергаче, наверное, хватит. Пора поговорить и о курсах, на которых меня, собственно, и командировал в районный центр кузьминский колхоз «Друг рабочего».

До сих времён, до основания МТС ни Сергачская земля, ни жители наших сёл и деревень тракторов не знали. И мы, завтрашние трактористы, думали о себе чуть ли не как о первопроходцах и нос задирали выше некуда. Кое у кого даже походка стала меняться в сторону некоей вальяжности. Какая-либо суетность, легковесное мельтешение вроде бы уже были не к лицу человеку, управляющему такой могучей, в тридцать лошадиных сил, машиной. И так-то хотелось нам сразу же сесть за руль стоящего на усадьбе МТС железного коня по имени ХТЗ и громогласно прогromеть по тихим улицам Сергача. Но устроителями курсов нам было популярно объяснено, что трактор — машина не такая уж простая, как кое-кому кажется. На неё просто сесть и поехать, а вот если где-то или когда-то, по какой-либо надобности потребуется остановиться — это не у всех получается и останавливается машина лишь тогда, когда упрётся в забор, в баню или в крыльцо дома. И вот как раз для овладения тонкостями управления трактором и созданы курсы.

Они подразделены на два взаимосвязанных между собой этапа. Первый — учебно-теоретический, в который входит обязательное знание того, чем принципиально отличается радиатор от карбюратора, а коробка скоростей от коробки запчастей. Уделяется немалое внимание и тому, чтобы хорошо знать разницу между цилиндрами, поршнями и клапанами, а также умению надевать на поршни кольца и, хотя их надевают почти так же, как и обыкновенное кольцо на палец, всё же палец и поршень, как считают опытные специалисты — две большие разницы...

Вот примерно так, пусть и не совсем дословно, поучал нас, завтрашних, уже сегодняшних главный механик МТС, чуть ли не мой однофамилец — Шестаков.

И что интересно: голос у инженера был тихий и какой-то доверительный-вкрадчивый, и хоть я и употребил словечко «поучал», на самом же деле ничего поучающего в тоне его голоса не было, он всего-навсего как бы по-товарищески делился с тобой знаниями, которые ему уже известны, а тебе пока ещё — нет. И вполуха слушать его или, тем паче, ослушиваться было просто невозможно: только самый круглый дурак может пропустить мимо ушей сказанное ему нужное и важное, да к тому же ещё и сказанное по-дружески, по-свойски. По возрасту он был постарше нас, зелёных. Но никто не слышал, чтобы он на кого-то гавкнул или хотя

бы повысил голос — в этом попросту и не было никакой необходимости: исполнять любое его распоряжение каждый из нас бежал, что называется, сломя голову. Авторитет его с самых первых же шагов был непрекаемым и с течением времени только возрастал. Нам казалось, что он нас всех любит, и мы ему отвечали тем же. И если у кого-то случались неполадки с мотором ли, с ходовой ли частью трактора, то первое, что можно было слышать среди друзей-товарищей: ты сначала поговори с Шестаковым...

Познакомились мы и с главным нашим начальником — директором МТС Андриановым. В отличие от сухопарого, с детской летящей походкой механика, он был полноват и лицом и фигурой, и ступал по земле основательно, словно бы отпечатывая каждый свой шаг. А ещё он был столь же основательно рассудительным и, как мне казалось, сверх всякой меры медлительным. О таких говорят: лишнего слова не скажет, если же скажет, то к сказанному ничего добавлять уже не потребуется. Невозмутимая же медлительность директора поначалу меня даже озадачивала. Если случалось разговаривать с ним в его кабинете, то директор на мой голос свою умную голову поворачивал так долго, что мне начинало казаться — он меня плохо слышит. Но, правда, когда повернёт и внимательно на тебя посмотрит, возникает ощущение, что он видит тебя, что называется, насквозь.

Вот такие достойные — один другого лучше — руководители возглавили новорождённую машинотракторную станцию Сергачского района. Если же во времени забежать немного вперёд, то к сказанному можно ещё и добавить: в ближайшие же годы Сергачская МТС станет одной из лучших в области.

Я так увлёкся пересказом двухэтапной учебной программы, с которой ещё в самом начале нас знакомил главный механик, что не сразу обратил внимание на явный перевес теоретического «этапа» над практическим. Горю желанием восстановить необходимое равновесие.

Начну с того, что трактор — машина хоть и железная, но от того, кто садится за его руль, требует постоянной заботы и внимания. Железо, как просвещал нас Шестаков, тоже устаёт, и изнашивается, так что будь бдителен. И если с течением времени, скажем, к концу двадцатого века за рулём родственного трактору автомобиля не редкостью стало видеть девушку или даму в белом платье и даже белых перчатках — объяснение тому самое простое. Случись что-то неладное с авто — дама отнюдь не полезет в карбюратор или магнето — она даже может и не знать, где они находятся — а позвонит по мобильнику в ремонтную мастерскую, машину заберут, и если не завтра, то послезавтра за её руль опять можно будет сесть в белых перчатках...

Это первое. Второе же и главное — нас на курсах учили не столько вождению трактора, а сколько работе на нём — пахать, сеять, убирать. И нам сразу твёрдо было сказано: в случае каких-либо остановок, неполадок — рассчитывайте, ребята, только на себя. В сёлах, как вы знаете, никаких ремонтных мастерских, кроме кузниц, нет. Осваивайте хотя бы самые азы кузнечного и слесарного дела.

Вот в кузнице, на берегу уже помянутой мной Сергачки, мы эти азы и осваивали.

А поскольку в те, теперь уже далёкие, годы в широком ходу было словосочетание «Кузница кадров» — так говорили даже про учебные заведения, готовящие чиновников районного масштаба, — нам свою кузницу по-другому, наверное, и назвать было нельзя. Правда, кто-то произносил эти слова с доброй иронией, кто-то с весёлой улыбкой, но название нашей кузницы осталось в памяти первых трактористов надолго.

Именно она, кузница кадров, и была вторым, практическим этапом наших тракторных курсов. В ней, в её с утра до вечера сияющем горне, ковались и детали тракторов, и кадры первых механизаторов Сергачского района.

Март считается весенним месяцем, хотя нередко бывает, что в это время земля ещё остаётся заснеженной, а по ночам потрескивают морозцы. В известном народном присловье, между прочим, тоже говорится не о холоде, а о солнечном тепле, о первой капели. Вспомним-ка то присловье: если на Евдокее — это середина марта — курочка напьётся (той самой капелью с крыш); то на Егория — это уже середина мая — овечка травки наестся. Не сразу понимаешь, почему такое важное значение придано зелёной травке, а чуть подумаешь — как было крестьянину не радоваться новому подножному корму, этой травке, если все запасённые на зиму корма уже давно съедены!

А как же не радоваться было нам, окончившим курсы и получившим подтверждающие это удостоверения — ведь это была наша первая весна, в которую мы, если так можно сказать, въезжали на тракторе.

Ознаменованье этого немаловажного в истории Сергача события выделось по-разному.

Кое-кому картина въезда рисовалась в самых мажорных тонах. В какой-то день и час в одном месте выстраиваются наши ХТЗ, произносятся громкие красивые речи, затем под бравурную красивую музыку духового оркестра и барабанный грохот машины разъезжаются по сёлам и деревням района.

Некоторые же руководители района да и наши эмтээсовцы Адрианов и Шестаков большого смысла в таком показушном параде не видели. Надо ли воспарять в безоблачные выси, раздавались их трезвые голоса — когда здесь, на земле, остаётся ещё столько нерешённых, неотложных проблем. Во-первых, тракторов — чтобы дать каждому селу или деревне — у нас столько нет. И, значит, направлять машины следует прежде всего в маломощные, малолюдные колхозы, а скажем, в Кузьминку или Богородское, где возглавляют хозяйства умные, башковитые председатели, можно пока и не давать. Во-вторых, вовсе не обязательно парня из Берёзовки, окончившего курсы, в его Берёзовку и посылать. Думать надо о другом: самых дальних, самостоятельных и надёжных — направить в самые отдалённые селения, тех же, что послабее, у которых ещё нет твёрдой уверенности в своих силах и возможностях — держать поближе к Сергачу, к нашей ремонтной мастерской.

Расклад, в общем-то, разумный, ничего не скажешь. Он и был принят к действию. Хотя мне, что называется, вышел боком: я оказался распределённым в самый дальний северо-западный угол района, где он граничит с соседним Княгининским. Вольно или невольно, в получилось именно так, как моя матушка предсказала: на всё лето я теперь отрезанный ломоть.

куЗьминка

Весна в том году выдалась поздняя, так что в середине марта курочке напиться капелью не пришлось. Зато мы, только что испечённые трактористы, оказались в благодатном выигрыше: курсы завершились не впритык к весеннему севу, а с недельной оттяжкой, и нас отпустили по домам.

По приходе в Кузьминку, я, естественно, перво-наперво побывал в колхозной конторе и доложил председателю о том, что успешно окончил тракторную академию и, как бы в подтверждение своих слов, показал выданное мне удостоверение. Сад Егорович уважительно развернул бумажку, почитал, погмыкал:

— Так, так, знай наших, знай, что мы не лыком шиты и не лаптем щи хлебаем. Так, так... Что ж поздра...

Я не дал ему договорить, сказав, что поздравлять пока не с чем: работать мне придётся не на Кузьминских полях, а на каких-то Ивановских.

— Это как понимать? — возмущённо воскликнул Сад Егорович; — Это же безобразие! Готовим кадры незнакомо для кого.

Я попытался объяснить председателю, что такое решение принято районным начальством, а в будущем году я буду работать только в Кузьминке. Но это не поколебало его убеждений, и он, проворчав, что до будущего года надо ещё дожить, ещё раз повторил:

— Безобразие!..

Однако же, когда я уходил, Сад не только крепко пожал мне руку, но не поскупился ещё и на похвалу:

— Молодец!

Наверное, матушка сидела у окна, когда я подходил к родному дому. Потому что, шагнув в сени, я не успел ещё закрыть дверь, как уже почувствовал на своей шее её тёплые руки. Войдя в избу, мы какое-то время сидели на лавке и ни о чём не говорили, если не считать за разговор и раз и два повторенное: «Как хорошо-то, что пришёл!», «Как я рада!» А ещё и так думалось: а о чём говорить-то? Главное, что мы сидим рядом, радуемся и нам больше ничего не надо.

Разумеется, немного погодя, мы нашли, о чём поговорить. Я рассказывал, как нас учили на курсах, как работал у пылающего горна в кузнице, конечно же, и о библиотеке, о старушке, которая меня помнит, рассказал. Мама, в свою очередь, перебрала все кузьминские новости, затем достала из-за божницы недавно полученное письмо от Степана.

В переписке Степан среди нас, братьев, был самым аккуратным. Он потом и в войну, с её полевыми почтами, находил минуты, чтобы написать хотя бы несколько строк. А уж мамане, как с его лёгкой руки мы часто называли нашу маму, он и вовсе писал не только аккуратно, никак не реже, чем ежемесячно, но ещё и с заботой о том, чтобы неграмотная, родившаяся ещё в конце девятнадцатого века, маманя могла сама прочесть. Он писал, если так можно выразиться, печатными буквами, многие из которых наша мама знала...

Забегая немного вперёд, скажу, что когда придёт срок и мне уезжать из Кузьминки в Москву, мы, с младшей сестрой Зоей научили нашу матушку не только читать, но и самой писать. И какие потом замечательные письма она нам писала! Но это когда-то ещё будет, а сейчас я читаю письмо нашего старшего и мы вместе с ней радуемся...

Пужинав ещё не совсем остывшими в печи щами и кашей, ложимся спать — маманя на своей любимой печке, я — на деревянной кровати в переднем углу избы.

И первое, что приходит мне в голову, после того, как я угнезвился на своём домашнем ложе, так это вопрос: ну, какая, казалось бы, разница — в Сергаче, в общежитии ты спал, а вот сейчас улёгся на сон грядущий в своём кузьминском доме: и там, и тут — позади остаются дела, заботы и хлопоты, а впереди — отдохновение от этих забот и хлопот. Разница же, оказывается, есть, и не малая. Там — всё вокруг тебя, не только днём, а и ночью — чужое, непривычное, временное. Здесь — с самых малых лет всё близкое, своё, родное. Там ты не всегда знаешь, как сложится новый день и успешны ли будут твои дела, здесь ты живёшь по распорядку, установленному давным-давно, и тебе в делах даже стены родного дома и то будут в помощь. Ну, а ещё ведь не сказано не о самом ли главном — о том, что здесь рядом с тобой родная мать.

В полной, ничем не нарушаемой тишине как-то особенно звучно отсчитывают секунды уходящего времени висящие в простенке надо мной часы-ходики. И под их мелодичный перезвон, как под знакомую ещё с самого раннего детства музыку, я и засыпаю...

.....

Под ту доску была поставлен надёжный чурбак. На крыльце подгнившая ступенька была заменена новой. Подобные работы сельскому жителю сопутствуют, что называется, всю дорогу, так что делать их ничуть не в тягость. Я знаю и где лежат чурбаки, и где найти обрезок доски, а ещё и сызмальства любил иметь дело с деревом — пилить, тесать, строгать. Особенно же нравилось сунуть нос в только что наструганные завитушки и вдыхать их смолистый аромат.

Сразу же после завтрака решил прогуляться по родной Ерзовке, а заодно и наведать своего доброго напарника по колхозной работе Мина, жившего в самом конце улицы.

День был воскресный, полурабочий, поскольку недели в те годы были заменены пятидневками, так что своего полевого сотоварища я застал дома. И какой была наша встреча! Всегда ровный, сдержанный Минок обнимал меня так крепко — ну, словно сто лет мы не виделись.

— Ну что, с Мальчика-то на железного коня пересаживаешься? Оно, конечно, рулить чуть ли не тремя десятками лошадей — это не то, что за бороной ходить.

— Не преувеличивай, — урезониваю я товарища, — Из этого табуна лошадок, что ты назвал, не меньше половины — а если точно, пятнадцать лошадиных сил — уходит на то, чтобы железная коняга саму себя возила.

— Ого! — А я и не знал.

Когда же я сказал, что летом нам, если и придётся видеться, то не в поле, а вот разве что, как сейчас, на Ерзовке — мой сотоварищ совсем по-детски, протодушно огорчился:

— А я-то думал, ты меня громогласно прокатишь по Кузьминке из конца в конец.

Я постарался удержаться от усмешки и твёрдым голосом пообещал:

— Будущим летом обязательно прокачу. И конечно же — громогласно!

Входная в избу дверь приоткрылась, и в неё этак бочком-бочком просунулась светловолосая, лет десяти девчушка, а следом за ней шагнул через порог такой же светленький паренёк, похоже, её младший братец. Девочка покосилась в мою сторону и по её взгляду было легко понять, что моё присутствие её отнюдь не порадовало. Впрочем, это тут же она сама и подтвердила:

— Дядя Мин, мы — к тебе.

— Вот и хорошо, — радостно отозвался Мин. — Вот и ладно.

По всему видно, что ребята пришли к нему не впервые. Но чьи они, из каких соседских семей, определить не могу. И хотя я хорошо знал, что по множеству детворы Ермаковы и Бабаевы идут впереди всей Ерзовки, различить, кто Ермак, а кто Бабай — для меня всегда затруднительно.

Девочка села на стульчик у окна, вынула из картонной коробки ножницы, нитки, кусочки цветастого ситца и начала что-то шить-кроить. А мальчик уселся в углу, рядом с деревянным ящиком и стал доставать из того ящика обрезки досок, толстых и тонких палок, другую мелочь, даже железную скобу, молоток и гвозди приготовил.

Непросто было понять, куклу ли мастерит девочка, платье ли для куклы, точно так же и её братец, то ли пирамиду начал строить, то ли избушку на курьих ножках, но как портняжка, так и строитель работали сосредоточенно и увлечённо — любо-дорого было на них глядеть.

Мин зачем-то вышел в сени, на меня ребята не обращали внимания, к тому же я и сидел-то у стола, на изрядном удалении от них.

И вдруг, то ли избушка не устояла на курьих ножках, то ли пирамида рухнула — в избе раздался, хотя, может быть и не очень громкий, но безутешно-горький плач.

У взрослого человека тоже ведь бывает — и не редко! — что-то не получается. И чтобы как-то заглушить, превозмочь охватившее его чувство обиды и досады, человек и кулаком по своему же, ни в чём неповинному, колену ударит, и крепким словом выругается, а то и дураком

даже самого себя назовёт. Маленький человек, хотя и ругань слышит, но сам ругаться ещё не умеет. Обзывать себя дураком тоже не может, поскольку пока ещё большой разницы между умным и дураком частенько не видит. Вот ему, бедному, только и остаётся любую свою оплошность оплакивать.

Старшая, конечно же, вняла воплю младшего, хотя и отозвалась на него довольно спокойно:

— Ну, что ты расхныкался-то? Строй свой шалаш заново!

— Не полу-ца-ица, — сквозь жалобные всхлипы, «працаица!» малыш.

И как бы только теперь, почувствовав всю глубину безысходного горя строителя шалаша, его сестрица уже другим, как бы сочувственным голосом говорит:

— Ну, поди ко мне — я тебя пожалею.

Парнишка быстро сдвигает в ящик детали рухнувшей пирамиды, подбегает к сестре, взбирается к ней на колени, а ручонками охватывает шею. И проделывает всё это так проворно и ловко, что видно — не в первый раз. А я гляжу на эту вроде бы простенькую картинку и глазам своим не верю. Только что, какую-то минуту назад, я видел заплаканное лицо ребёнка, слышал его перемежающийся горькими всхлипами голос, и вот — не чудо ли?! — уже нет никаких слёз, а есть сияющее радостью лицо и звенящий той же радостью голос. Что случилось-то, что произошло? А ничего не произошло. Просто одна человеческая душа соприкоснулась с другой, родственной ей душой и разделила с ней печаль, пожалела её...

В тот памятный день мне, что называется, повезло на жалельщиков. На возвратном пути от Мина домой я оказался случайным свидетелем ещё одной столь же трогательной, сколько и забавной сценки.

Шустрому парнишке Вовке — тоже нашему ерзовскому — приглянулась одна соседская курочка. Собственно, не столько курочка, сколько её разноцветный, как у петуха, хвост. И так-то захотелось Вовке ухватить курочку за чудесный хвост, что он однажды выследил её за сараем. Выследить-то выследил, но курица — не ягнёнок или телёнок, к которым можно подойти запросто. И когда Вовка протянул руку к облюбованному хвосту — курица, панически закудахтав, — кудах-тах-тах! — взлетела намного выше Вовкиной головы, а опустившись на траву, понеслась с таким проворством, что отличный бегун Вовка, чуть ли не чемпион по бегу среди сверстников, не смог её догнать.

Ну, это было бы ещё ничего — в следующий раз он её обязательно зацапает. А вот, когда бежал за ней — под ноги-то глядеть было некогда! — одну свою босую ногу занозил. На его счастье, на завалинке ихней избы бабушка сидела. Доковылял Вовка до бабки и, ничего не сказав ей, просто сел рядом и протянул свою ногу с занозой прямо бабке на колени.

— И где тебя угораздило-то? — без какого-либо сочувствия к внуку проворчала бабка. — Другие ребяташки, вон, бегают и хоть бы что. Тебе же надо было там бежать, где тебя заноза ждала...

Я как раз и оказался у завалинки, когда бабка орудовала над Вовкиной ногой с йодом, ватой и бинтом, и даже с какими-то медицинским, как она сказала, остроконечными ножницами. И мало того, что умело выдернула изрядную занозину, но и обработала образовавшуюся ранку. Повеселевший Вовка, которому, надо думать, не раз и не два приходилось слышать словечко «жалеть», неожиданно для бабушки, а может быть, и для самого себя, сказал:

— А ты, баб, меня — беднягу, ещё и пожалела бы.

Бабка тихонько так, и уже не столь сердито, сколь добродушно, усмехнулась:

— А разве не жалеючи тебя, балбеса, я всё это и делаю?! Ходи да под ноги гляди, и тогда я тебя не только пожалею, а может быть и похвалю...

Вот и опять я слышу это словечко. К тому же сказанное не каким-то несмышлёнышем — Вовка ведь не только шустрый, но уже и кое-что

понимающий паренёк, и вряд ли ему хочется лишь того только, чтобы бабушка по головке его погладила.

Мне и раньше не раз приходилось слышать, как в нашем деревенском разговорном обиходе это самое жаление значило не одну жалость к кому-то, но ещё что-то не менее, а может быть даже ещё более важное. Как-то одна жительница нашей же Ерзовки в разговоре через огородный плетень допытывалась у своей соседки: «Это с чего бы вчера твой муженёк-то на тебя взъерепенился? Я в огороде грядки делала, слышу: и то не так и это не эдак!» Соседка же, к моему немалому удивлению, не только не нахмурилась от заданного ей каверзного вопроса, а наоборот этак по-доброму улыбаясь, ответила: «В домашних делах, Клава, сама знаешь, всяко бывает, я же — лопухнулась, кое-что не так сделала, как надо, вот он и... Ты же знаешь, он у меня горячий, вспыльчивый, а когда остынет — сам же себя виноватит и мне помогает, бывает даже, мои бабьи дела делает... Нет, Клава, Коля меня жалеет...»

Тут, конечно, правильнее было бы сказать, что Коля её любит. Но в деревне это слово считается как бы слишком высоким, книжным, а жалеет — и попроще и потеплее.

До моего отбытия в Ивановку оставались, что называется, считанные дни. Матушка, тихая и печальная, как раз и отсчитывала эти остатные дни и была как-то особенно внимательной и предусмотрительной ко мне и к тому, что я делаю. А столкнёмся, встретимся по каким-либо домашним делам — она, скажем, возвращается с подворья, а я иду из сеней — мимо не пройдёт, остановится и то ли пуговицу на моей рубашке застегнёт и ладонью этак ласково по щеке проведёт, то ли просто на секунду приостановится, прислонится ко мне, а то и обнимет. Она словно бы старалась впрок набрать этих драгоценных мгновений нашей ощутимой близости, хотя честно признаться, по своей зелёной молодости, а если порезче сказать — по ещё не выветрившейся молодецкой глупости — этого тогда я не очень-то понимал...

Как-то попались мне под руку старенькие, с двумя выломившимися зубьями, грабли. Я подержал их за гладкий, отполированный до блеска грабельник и уже замахнулся отбросить к кучке дров, но что-то меня остановило. Остановила, наверное, вот эта необыкновенная гладкость обыкновенной деревянной палки. Ведь оглажена она не на каком-то хитроумном станке, а человеческими руками — руками нашей мамани. И это сколько же раз — считай, не сосчитаешь! — надо было на сенокосе ли, на хлебном ли поле или на току не только взять в руки эти грабли, но и часами, днями не выпускать их из рук...

Но потом, за обедом, когда мы сели за стол, она опять говорила не о себе, не о своей пожизненной работе, а всячески хвалила меня, мои, прямо-таки, великие труды.

— Это хорошо, мне в радость, ты мои любимые грабельки подновил. Уж больно аккуратненькие они, легки, сами в руки просятся. И сколько я ими всякого-всего переделала!.. Только ведь и тебе, небось, мороки-то тоже было немало: деревянный зуб вставить — эт не то, что железный гвоздь молотком забить...

Тут мне вспомнилось, о чём Вовка просил бабу-докторицу, и подумалось: а ведь маманя-то своей похвалой тоже, считай, пожалела меня...

о чело Веке с бе РёЗо Вым Веником

Быстро идёт-бежит время. Неделя пролетела — я и оглянуться не успел. А о «неделе» я вспомнил потому, что нововведённые пятидневки как-то не приживались и счёт времени оставался прежним. Вчера даже пришлось слышать в компании ерзовских мужиков своеобразный расклад недели. Один нахваливал среду: это, мол, середина недели и если ты надумал какое-то дело сделать — у тебя есть два начальных дня всё подготовить, а потом ещё и остаётся два, если не все три дня, чтобы

доделать недоделанное. Кто-то поддакнул серединнику и таким же добрым словом отозвался о четверге. О вторнике и пятнице никто не говорил. Понедельник же все посчитали самым тяжёлым днём недели: один ссылался на то, что в воскресенье успел облениться, другой же — что с похмелья башка трещит.

А я слушать-то эти басни слушал, однако же вступать в такой многоумный разговор не осмеливался, хотя про себя думал: не самый ли лучший, не самый ли замечательный день недели — суббота! Это же и радостное сердцу подведение итогов тех, пусть и не совсем великих дел, которые ты преуспел за неделю сделать. Да и это ещё не самое главное и важное. Главное, а правильное, наверное, будет сказать, наиглавнейшее здесь то, что ты не спеша, как следует быть, истопил баньку, раскалил каменку — так у нас называют камни-голыши над котлом, а потом плеснул ковш воды на эти раскалённые камни и вся, скромных объёмов, уютная банька, от пола до потолка наполнилась сухим, пахнущим берёзовым паром, и пар этот обнимает тебя, твоё тело с головы до пят — вот она, ни с чем не сравнимая радость. Ну, а если ты ещё и взял из тазика с горячей водой тот самый берёзовый веник, о котором слышал разве что в сказках, да ещё этим чудесным веником начал изо всех имеющихся у тебя силёнок хлестать по своим лопаткам, по плечам и пояснице, по рукам и ногам — тогда держи свою левую ладонь на груди и прижимай её крепко-крепко, чтобы сердчишко твоё от великой радости и от великого, ни с чем другим несравнимого удовольствия не выпрыгнуло из ставшей тесной ему грудной клетки.

Вот чем знаменита, в сравнении с другими днями недели наша русская суббота! И я что-то не слышал песен о вторнике или четверге, а вот «Во субботу день ненастный, нельзя в поле работать» пели и по сей день ещё кое-где поют.

Ну, о днях недели, наверное, хватит. А вот о русской бане, пожалуй, не лишним будет кое-что и добавить.

Всем известно, что ещё в давние — их зовут часто библейскими — времена человеку было определено: хлеб — сиречь: питание себе — добывать в поте лица своего, что он исправно и делал. И надо думать, что тогда же человек научился свой трудовой пот смывать и с лица, и с тела. Правда, холодной водой пот не смывается, воду лучше подогреть. А ещё лучше будет, если вместе с водой нагреть и то помещение, в котором он будет совершать своё омовение. Всё тут логично и понятно. А вот зачем человек в день своего омовения — или, в переводе на русский язык, банный день — пошёл в ближний лесок и на опушке его наломал берёзовых густолиственных веток, туго связал их в приятно пахнущий веник и с этим веником пришёл в натопленную баню? Что за нелепость, ты уж, чудак-человек, не свихнулся ли? Веником принято в доме пол подметать, а в бане бери, вон, мочалку да мойся. Нет же, не мочалку, а ковшик воды берёт тот человек и выливает на раскалённые камни, а затем, в облаке жаркого пара начинает безжалостно, что есть мочи, хлестать себя и по животу, и по спине, как будто сам же перед собой в чём-то провинился... А бывает и так, что хлестал-хлестал себя человек — аж устал, но ему и этого показалось мало. И если он пришёл в баньку не один, а с другом-товарищем, то он ещё того попросит попарить его теперь уже в два веника...

И что в итоге получается? А получается, что вениковое самоистязание во всём, так сказать, банном действии не какая-то большая или малая часть его, а наиглавнейшая суть. Не потому ли редко можно слышать: в баньку бы сходить, помыться. Куда чаще говорят: эх, хорошо бы в баньку сходить — попариться!

К сожалению, мы не знаем, да и вряд ли когда-либо узнаем имя того русского человека, который первым — самым первым! — пришёл в жарконатопленную баню с берёзовым веником. А он, конечно же, достоин нашей благодарной памяти и ныне, и присно.